

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОЛЖСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

С. П. РАМАЗАНОВ

**КРИЗИС
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
НАЧАЛА XX ВЕКА**

В 2 частях

Часть 1

**ПОСТАНОВКА И ПОПЫТКА
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ**

Волгоград 1999

УДК 930.1
ББК 61.1(2)6
Р21

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор В. А. Китаев;
доктор исторических наук, профессор А. Н. Нечухрин

Печатается по решению
ученого совета ВГИ ВолГУ
(протокол № 8 от 10 мая 1999 г.)

Рамазанов С. П.

Кризис в российской историографии начала XX века:
Р21 В 2 ч. Ч. 1: Постановка и попытка решения проблемы. —
Волгоград: Издательство Волгоградского государственного
университета, 1999. — 144 с.

ISBN 5-85534-233-6

В монографии раскрывается сущность и содержание основных этапов кризиса в российской историографии начала XX века. В первой части книги анализируется дискуссия по проблеме этого кризиса, выводится определение понятия «кризис в историографии», рассматривается этап возникновения кризиса в исторической мысли России, который связывается с утверждением в ней ведущих позиций неокантианского течения. Особое внимание уделяется методологическим воззрениям лидера такого течения в русской историографии А.С. Лаппо-Данилевского.

Адресуется специалистам в области отечественной и всеобщей истории исторической мысли, методологии исторического познания, философии, аспирантам, студентам.

ISBN 5-85534-233-6



© Издательство Волгоградского
государственного университета, 1999
© Рамазанов С.П., 1999

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
<i>Глава I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСА РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ</i>	6
<i>§ 1. Проблема кризиса русской исторической науки в отечественной историографии</i>	6
<i>§ 2. Определение понятия кризиса в исторической науке и критериев его периодизации</i>	22
<i>Глава II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРИЗИСА В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (СЕРЕДИНА 900-х—1917 г.)</i>	40
<i>§ 1. «Преодоление» позитивизма и утверждение ведущих позиций неокантианского течения в исторической мысли России</i>	40
<i>§ 2. Борьба с неокантианством в русской историографии и особенности неокантианского течения в отечественной исторической мысли</i>	66
<i>§ 3. Методологические воззрения А. С. Лаппо-Данилевского</i>	94
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ	113
ПРИМЕЧАНИЯ	116

ВВЕДЕНИЕ

Слово «кризис», пожалуй, самое популярное в современной российской действительности. Это слово не сходит с уст политиков, деятелей культуры, ученых. В последнее десятилетие не умолкают разговоры и о кризисе современной отечественной исторической науки.

Тема кризиса российской историографии отнюдь не нова. Обсуждение проблемы кризиса русской исторической мысли зарождается с началом нашего века и продолжается по сегодняшний день. В процессе такого обсуждения менялись трактовки характера, природы, причин и хронологических рамок этого кризиса, накапливались достижения и обозначались изъяны в его осмыслении.

В настоящей работе предпринимается попытка исследования сущности и этапов кризиса в отечественной историографии начала XX столетия. Такая попытка реализуется на основе анализа постановки проблемы этого кризиса в ходе длительной дискуссии и выведения определения самого понятия кризиса в историографии.

Монография состоит из двух взаимосвязанных частей. В первой части рассматривается история, теория проблемы кризиса русской исторической науки и этап его развертывания в предоктябрьской России. Во второй — прослеживается развитие кризиса в послереволюционной отечественной исторической мысли. Вместе с тем сочетание в работе исследования общих процессов в российской историографии на каждом из этапов ее кризиса с анализом развития воззрений наиболее ярких ее представителей, олицетворяющих характерные особенности таких этапов, — А. С. Лаппо-Данилевского, Л. П. Карсавина, Д. М. Петрушевского, — по убеждению автора, способствует более полному и глубокому пониманию темы кризиса. При этом специфика течения кризиса исторической мысли в конкретных условиях научной и социально-политической жизни России трех первых десятилетий двадцатого века обусловила ограничение предмета исследования трудами русских ученых, изданных внутри страны.

Значимость решения проблемы кризиса в отечественной историографии начала XX столетия, прежде всего, определяется тем, что эта проблема является центральной для комплексного осмысления процессов в российской исторической мысли

первых тридцати лет нашего века. В первую очередь, такое решение важно для уяснения места, роли и характера борьбы теоретико-методологических течений в русской историографии, сущности и направленности методологических воззрений отечественных историков и философов.

Изучение опыта развития методологии истории в России начала XX столетия актуально и для современной теории исторического познания, поскольку многие из поставленных тогда вопросов остро дискутируются и сегодня. А обращение к истокам проблемы часто способно придать новые плодотворные импульсы ее решения, так как позволяет ясно и четко осознать изначальные трудности и сложности в ее формулировке.

Опыт интенсивных методологических исканий русской исторической мысли начала XX века представляет значительный интерес и потому, что при всем своеобразии условий таких исканий они в известном смысле перекликаются с процессами в постсоветской науке. Попытки отечественных ученых начала столетия преодолеть позитивистскую методологию и одновременно сбалансировать новые идеи с прежними установками в определенном отношении соприкасаются со стремлением современной российской историографии пересмотреть постулаты марксизма, по своей методологической природе близкие положения позитивистской теории.

Таким образом, несмотря на то что процесс кризиса в отечественной исторической науке начала века был своеобразен в сравнении как с процессами, происходившими в современной ей западноевропейской историографии, так и с процессами в сегодняшней российской исторической мысли, исследование сущности, характера и направленности кризиса в российской историографии начала XX столетия может содействовать анализу кризиса современной нам отечественной исторической науки, поиску путей выхода из него, осмыслению кризиса исторической мысли в целом.

Безусловно, течение кризисов в различных сферах общественной и экономической жизни также имеет свою специфику. Вместе с тем специальный анализ кризисов в отдельных областях — экономической, социально-политической, духовной, научной — может способствовать общему осмыслению категории «кризис» и созданию теории кризисов, не разработанной до настоящего времени философской мыслью.

Глава I

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСА РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

§ 1. Проблема кризиса русской исторической науки в отечественной историографии

Поставленная в отечественной литературе столетие тому назад проблема кризиса русской исторической науки претерпевала серьезные изменения в своем решении. В процессе осмысления этой проблемы расширялось понимание его характера, причин и стадий. На процесс такого осмысления воздействовали развитие самой российской историографии, рост осознания историками кризиса своей науки, мировая и отечественная философская мысль и усиливающаяся зависимость развития исторической науки в России от изменения социально-политической ситуации в стране. Последний фактор обусловил утверждение в советской историографии идеологизированного подхода к трактовке кризиса русской исторической мысли начала XX века. А попытки преодолеть этот подход приводили, с одной стороны, к возврату к ряду исходных позиций в понимании проблемы, с другой — к выдвижению вопросов, не всегда находивших удовлетворительные ответы.

Эта проблема была впервые сформулирована на рубеже XIX—XX вв. в работах таких крупных историков, как Р. Ю. Виппер и Д. М. Петрушевский в связи с осмыслением предстоящих задач развития исторической науки ¹. Увязывая развитие отечественной историографии с процессами, протекавшими в мировой философии и обществоведении в целом, ученые распространяли понятие кризиса лишь на теоретико-методологический уровень исторической мысли. При этом трактовали процесс этого кризиса как исключительно позитивный по своей направленности.

Поступательный характер развития современной им историографии Виппер и Петрушевский видели в изменении представлений о природе, целях и методах исторической науки, в

пересмотре укоренившихся в истории и социологии схем и терминов, в отказе, прежде всего, от позитивистской точки зрения с присущими ей, по мнению ученых, «догматизмом», «метафизичностью» и «схоластичностью»². При определенных различиях в понимании характера необходимых перемен в исторической науке и апелляции для их реализации к появившимся работам разных, в первую очередь немецких, философов, и Петрушевский, и Виппер полагали, что в результате таких перемен должна быть сформулирована «теоретико-познавательная точка зрения», выработана «теория исторического познания»³. Именно процесс этих перемен историки и называли «кризисом исторической науки»⁴.

В итоге происходящих в обществоведении перемен, по словам Виппера, «теория исторической науки вступит в новый крупный период развития»⁵. История, как отмечал Петрушевский, станет «наукой в истинном смысле этого слова, наукой реальной, с определенными задачами и методами»⁶. Однако, как считали оба ученых, в настоящее время еще не может быть и речи об утверждении в обществоведении подлинно исторической точки зрения: общественные дисциплины еще вполне подчинены позитивистской традиции в постановке вопросов, в способе рассуждений, в употребляемой терминологии⁷.

В самом начале XX столетия в целом оптимистическим было восприятие кризиса в своих областях познания и русскими философами, и обществоведами. Так, в 1902 г. в предисловии к известному сборнику «Проблемы идеализма», подготовленному видными философами, экономистами, юристами, его редактор П. И. Новгородцев заявил, что теоретико-познавательный критицизм, идущий на смену позитивизму, не только вводит «положительную науку в надлежащие ей границы», но и «устраняет суеверные предрассудки, препятствующие свободно и прямо идти навстречу великим вопросам духа»⁸.

Однако уже после первой революции в России ряд представителей отечественной философской мысли меняет свои представления о содержании, характере, направленности, причинах и способе преодоления кризиса. Кризис начинает характеризоваться как «тяжелый», как «распад» философии, означающий «отсутствие какого бы то ни было ясного и глубокого направления», разочарование «в философии как в... рациональ-

ном знании», сомнение «в возможности синтеза и системы»⁹. А Н. А. Бердяев, резко расширяя объем понятия «кризис» и включая в него наряду с кризисом философии и обществоведения также кризис искусства, политики, современного сознания вообще, заявляет, что развитие теории познания не преодолевает, а, напротив, усугубляет такой кризис, поскольку, по его убеждению, утверждение «власти гносеологии» порождает состояние «скепсиса», «неуверенности в себе», «болезненной рефлексии», ведет к потере «ощущения реальности», к разобщению «с глубиной бытия»¹⁰. Выход из этого прогрессирующего кризиса он видит не в разработке теории познания, а в возвращении к онтологии и «философском обосновании и защите» «религии и мистики»¹¹.

После революции 1905 года происходят перемены — правда, не столь радикальные — и в интерпретации кризиса русскими историками. Так, М. М. Хвостов, выявляя факторы, обусловившие рост интереса историков и философов к теоретическим вопросам исторической науки, указывает на методологические работы К. Лампрехта, В. Виндельбанда, Г. Риккерта, на распространение естественно-научного мирозерцания и на марксистскую концепцию исторического процесса¹². В докладе, прочитанном в кружке историков в 1913 году, Р. Ю. Виппер выделяет новую заметную черту кризиса обществоведения — крушение теории прогресса, которая еще недавно занимала в науке господствующее положение и составляла «чуть ли не главный догмат культуры XIX века», — ставя, таким образом, вопрос о противоречивом характере кризиса. Крушение же этой теории, с его точки зрения, произошло под воздействием развития научных знаний и обострения противоречий между ростом производства и интересами человеческой личности¹³. По-прежнему констатируя «кризис общих понятий и терминов» в общественных науках, Виппер в работе 1911 года начинает рассматривать такой кризис как процесс мировоззренческий: он говорит, что кризис наиболее ярко выражается «в жестоком конфликте между идеалистическим и материалистическим истолкованием истории», в споре о существовании «законов исторической жизни»¹⁴.

Вместе с тем в дооктябрьской России большинство историков и многие философы еще сохраняли веру в силу развива-

ющейся теории познания, в плодотворность творческого усвоения немецкой философии, в то, что теория познания «спасет» общественные науки и выведет их из кризиса¹⁵.

После 1917 года понимание историками старой школы мировоззренческой сущности кризиса становится совершенно отчетливым. Р. Ю. Виппер доводит теперь констатацию мировоззренческой природы кризиса исторической науки до его дефиниции как перехода общественного мнения «от воззрения материалистического к идеалистическому», выражающегося в повороте науки от изучения «состояний, жизни масс, направления интересов» к исследованию «событий, роли личностей, сцепления идей»¹⁶.

При этом после Первой мировой войны и Октябрьской революции происходит переориентация и в трактовке отечественными историками причин кризиса историографии. Если до этих событий в качестве главных причин, предопределивших кризис, ученые называли факторы гносеологического порядка, то теперь развитие этого кризиса они начинают связывать, прежде всего, с изменившимися общественными условиями. А. М. Ладыженский коренные причины развертывания общего кризиса современного ему мировоззрения стремится увязать с международными столкновениями, кровавой национальной и классовой борьбой и с резким имущественным расслоением классов¹⁷. Р. Ю. Виппер говорит теперь об обусловленности кризиса исторической науки всей современной действительностью и, приводя знаменитое изречение Цицерона: «История — наставница жизни», заявляет: «Бывают эпохи, когда хочется сказать как раз обратное: не история учит понимать и строить жизнь, а жизнь учит толковать историю. Такую эпоху мы сейчас переживаем. Мы были участниками, частицами великого государственного тела, ныне более не существующего. Мы притягивали историю для объяснения того, как выросло русское государство и чем оно держится». «Теперь, — делает заключение ученый, — факт падения России, наукой весьма плохо предусмотренный, заставляет историков проверить свои суждения. Он властно требует объяснения: надо найти его предвестия, его глубокие причины, надо неизбежно изменить толкование исторической науки»¹⁸. С разразившейся мировой войной Виппер свя-

зывает «трагическую» гибель и мировоззрения эпохи XIX века, окончательное падение теории прогресса, разгром прежних аксиом общественных наук ¹⁹.

Обращение внимания на социально-политический фактор при анализе кризиса историографии приводит историков к постановке вопроса об этапах его развития. Так, с точки зрения Е. В. Тарле, приток не укладывавшихся в старые схемы факторов, особенно «феноменов экономической истории», «расширение кругозора» ученых определили на рубеже XIX—XX вв. утрату их веры в старые схемы, основанные на «прямолинейном» и «одностороннем» взгляде на исторический процесс. Результатом пересмотра старых схем и теорий, отмечает историк, стало то, что был «опрокинут» сложившийся способ исторического мышления ученых ²⁰. Разразившаяся же мировая война и катаклизм революции, по его мнению, усложнили психологию историков, заставив их иначе взглянуть на множество явлений и изменив старые привычки мышления у большинства ученых ²¹.

Однако неоднозначное восприятие старыми специалистами воздействия социально-экономических и политических процессов на развитие науки и культуры приводит к их дифференциации в решении вопроса о путях выхода из кризиса исторической науки. Историки, признавшие в целом плодотворность влияния современности на процесс исторического познания, все более настаивают на необходимости усиления обобщающей работы при исследовании прошлого, сохраняя при этом уверенность в жизнеспособности рационалистической методологии. Выражая такое понимание пути преодоления кризиса историографии, Е. В. Тарле в 1922 году обратился к своим коллегам со следующим призывом: «Добывать и исследовать факты, но на этом не успокаиваться; помнить, что каменщиков очень много, а за архитектурную работу никто почти не хочет теперь браться; не забывать, что если не окончательный, то высший смысл дела, однако, именно в архитектурных достижениях; критиковать, проверять, если нужно, то и разрушать чужие чертежи и планы, но не бояться строить свои собственные — вот каких построений каждый историк должен, кажется, пожелать в настоящее время и себе самому, и соратникам по науке»²².

Вместе с тем после 1917 года появляется группа историков с иной ориентацией в поисках направления выхода из кризиса.

Если до этого времени, в отличие от русских философов, почти все отечественные историки связывали преодоление кризиса своей науки с переоценкой ее методологических принципов на рациональной основе, то после Первой мировой войны и революционных потрясений ситуация меняется. К активизирующимся голосам философов, со всей определенностью связывающим выход из кризиса «европейской культуры» с преодолением «безмерного, мертвящего культуру рационализма»²³, присоединяются те историки, которые увидели в войне и революции угрозу гибели цивилизации. При этом если Р. Ю. Виппер говорил о необходимости для преодоления кризиса исторической науки дополнить пересмотр всех ее оценок, категорий, группировок, методов и заключений «свободной фантазией»²⁴, то Л. П. Карсавин видел возможность выхода из кризиса в переходе на антирационалистическую платформу «философии жизни»²⁵.

Внутреннее взаимодействие в послеоктябрьской России марксистской и немарксистской историографии позволило ученым новой формации сразу воспринять сформулированное историками старой школы понимание кризиса исторической науки как «поворота» от материалистического к идеалистическому мировоззрению²⁶. Вместе с тем заостренная направленность марксистских обществоведов в первые годы Советской власти на борьбу с буржуазной идеологией, а также усиление восприятия кризиса как гибели культуры и бессилия науки со стороны части самих философов и историков и их поиски иррационалистических способов преодоления кризиса, их обращения к религии и мистике обусловили отнесение марксистами понятия кризиса только насчет науки буржуазной и перевод его обсуждения исключительно в негативно-оценочную плоскость. Они сосредоточили свое внимание на реакционной окраске этого «поворота», по их мнению, выразившегося в тяготении буржуазной науки к теологии и даже «средневековому мракобесию», в ее ориентированности против идей социализма²⁷. А такая трактовка характера кризиса имела неоднозначные последствия.

С одной стороны, она способствовала более отчетливому выделению этапов кризиса русской историографии. Так, начало кризиса отечественной буржуазной исторической мысли М. Н. Покровский относил к рубежу XIX—XX вв., связывая его возникновение с появлением «первых идеалистических теорий

исторического процесса — Виндельбанда и Риккерта...»²⁸. А веками развития процесса кризиса советские ученые считали революции 1905 и 1917 годов. После Первой русской революции ими отмечалось объявление отечественным либерализмом войны социализму, его переход с этого времени от марксизма к «самому отчаянному мистицизму», «граничащему с мракобесием и поповщиной», но констатировалось, что «переоценка ценностей “либералами” в ту пору была далеко не завершена»²⁹. Говоря о проявлениях кризиса буржуазной общественно-исторической мысли России после 1917 года и в известной мере отражая ее дифференциацию, ученые-марксисты указывали либо на завершение «переоценки ценностей» русским либерализмом, его превращение в «реакционную», «черносотенную» силу³⁰, либо на его стремление к элиминации влияния современности на историю, к отстаиванию принципа «объективизма» в истории, стремление более упорное, чем в дореволюционное время³¹.

С другой стороны, эта трактовка привела к игнорированию противоречивого характера кризиса исторической науки, к упрощенным, однозначным выводам о направленности кризиса буржуазной историографии только по нисходящей линии³². Советские ученые противопоставляли буржуазной философии и общественной науке, от которых, по их мнению, веяло «гибелью, тлением, средневековым мракобесием», которые творили мифологию и боялись правды, «плодотворные научные завоевания» марксизма и делали заключение, что от этой философии «классу будущего... нечего ждать и брать»³³.

Резкое неприятие марксистскими обществоведами идейно-теоретических и научных воззрений специалистов старой школы вновь отчетливо проявилось в ходе дискуссии о книге Д. М. Петрушевского «Очерки из экономической истории средневековой Европы», в которой историк принял неокантианскую методологию Виндельбанда и Риккерта, соединив ее с концепцией «идеальных типов» М. Вебера³⁴. В ходе этой дискуссии, состоявшейся в Обществе историков-марксистов в конце марта — начале апреля 1928 года³⁵, правда, имели место отдельные высказывания о том, что заимствование Петрушевским концепции Вебера представляет из себя уступку историческому материализму³⁶. Однако большинство участвующих в обсуждении марксистов (В. Д. Аптекарь, С. С. Кривцов, П. И. Кушнер,

Г. С. Фридлянд) заявили не только о «затушеванной», но и о «заостренной» направленности книги Петрушевского против марксизма и материализма, о ее научной реакционности³⁷.

Вместе с тем группа историков (А. Д. Удальцов и прежде всего ученики Петрушевского — Е. А. Косминский и А. И. Нусыхин), шедшие к марксизму «с другого берега», пытаясь защитить ученого от идеологических и политических обвинений, говорили о сближении Петрушевского с марксизмом в понимании цели и метода исторической науки, о преодолении им через восприятие теории «идеальных типов» «ползучего эмпиризма»³⁸. Стремясь преодолеть односторонне-оценочную интерпретацию понятия кризиса историографии и перенести его обсуждение в научное русло, историки этой группы затронули еще один аспект проблемы кризиса исторической мысли. Утверждая, что о кризисе во взглядах Петрушевского можно говорить лишь на концептуально-историческом, а не идейно-методологическом уровне, они, по сути дела, поднимали вопрос о возможности равноуровневого подхода к анализу кризиса исторической науки. Так, Е. А. Косминский считал, что «в данном случае речь идет только... о кризисе в науке о средних веках, об известном накоплении новых фактов, новых исследований, которые заставляют пересмотреть заново целый ряд вопросов науки средневековой истории...» «Это, — полагал он, — разложение старой концепции, которую можно охарактеризовать по преимуществу как германистскую и национально-либеральную в германской, главным образом, науке»³⁹. Но такой кризис, по мнению Е. А. Косминского, с успехом преодолевала книга Петрушевского, которую он характеризовал как «смелую попытку построить новое здание вместо... разрушенного...»⁴⁰.

Однако вскоре всякие дискуссии по проблеме кризиса исторической мысли были прерваны развитием социально-политических процессов в стране. Воспринятый марксистскими общественоведами сталинский тезис об обострении классовой борьбы вылился в трактовку воззрений историков старой формации с однозначно непримиримых политических позиций. Характерной в этом отношении явилась брошюра Н. Рубинштейна «Классовая борьба на историческом фронте», появившаяся в начале 1931 года. Отстаивая тезисы о «крайнем обострении» «в последние месяцы» классовой борьбы в историографии и полной

идентичности истории и политики, Рубинштейн настаивал на необходимости «большой политической заостренности» во всей научно-педагогической деятельности историков, на том, что «необходима бдительность, беспощадное разоблачение буржуазных и оппортунистических выступлений в исторической науке»⁴¹. Исходя из таким образом формулируемых задач марксистской историографии, он наклеивал на историков-специалистов старой школы (С. В. Бахрушина, С. Ф. Платонова, Е. В. Тарле) ярлыки «академиков от контрреволюции», «активных врагов диктатуры пролетариата», проводников империалистических и шовинистических идей⁴².

Односторонняя идеологизированная оценка кризиса буржуазной исторической мысли была закреплена в последующие годы утвердившимся в советском обществоведении догматическим мышлением. Даже когда речь шла о процессах смены философских течений в России и их влиянии на обществоведение, эти процессы рассматривались в советской историографии лишь в плане борьбы такой мысли с марксизмом и поддержки ею социально-политической реакции⁴³. Теоретико-методологические же аспекты проблемы кризиса русской исторической науки в 30 — начале 50-х гг. советскими учеными практически не поднимались.

Но уже незначительное ослабление идеологического прессинга в середине 50-х годов ознаменовалось попытками — первоначально робкими — вновь возратить обсуждение проблемы кризиса отечественной историографии в лоно науки. Не порывая с укоренившейся в марксизме интерпретацией понятия кризиса как относящегося к науке буржуазной, советские историки делали шаги к такому возвращению с двух позиций.

Первая позиция была сформулирована А. И. Даниловым в 1955 году в статье, посвященной анализу эволюции идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского. Говоря о кризисе русской либерально-буржуазной медиевистики, ученый по-прежнему обуславливал его социально-политическими факторами, рассматривая его как порождение «политического краха идеологии буржуазного либерализма в России», и характеризовал кризис как переход историков «в идейно-теоретических вопросах на все более и более реакционные теоретические позиции». Вместе с тем, распространяя понятие кризиса на все области конкрет-

но-исторического исследования, он вновь подчеркивал, что «этот кризис был прежде всего методологическим кризисом»⁴⁴.

Вторая позиция была представлена М. А. Алпатовым в опубликованных в 1960 г. тезисах. Как и его предшественники — марксистские обществоведы, он считал, что основой кризиса отечественной буржуазной историографии «был поворот русского либерализма в сторону прямой политической реакции»⁴⁵. Говоря о присущих буржуазной медиевистике России времени ее кризиса чертах, советский ученый отмечал рост в ней реакционных тенденций, переход ее представителей на платформу «откровенной поповщины», «крайнего субъективизма», отказ либеральных историков от признания закономерности исторического процесса, от исследования крупных проблем, рост фальсификаторских тенденций в буржуазной историографии⁴⁶. Но, пожалуй, впервые в марксистской литературе, М. А. Алпатов обратил серьезное внимание и на иные процессы, происходившие в отечественной исторической науке этого времени. Он констатировал, что буржуазные историки вносили вклад в изучение ряда конкретно-исторических вопросов, продолжали вовлекать в научный оборот массу новых источников, совершенствовать технику обработки исторических документов, и приходил к выводу о том, что «кризис буржуазной исторической науки вовсе не означает, что прекращается всякое развитие этой науки»⁴⁷.

Возвращенное в историографический оборот положение о противоречивом характере кризиса было вскоре развито в третьем томе «Очерков истории исторической науки в СССР»⁴⁸. Вместе с тем Л. В. Черепнин — автор очерков, посвященных анализу основных черт кризиса русской либеральной историографии, — пришел к выводу, объективно сближавшему обе позиции в трактовке сущности такого кризиса. Советский ученый полагал, что «кризис буржуазной историографии... нашел наиболее яркое выражение в широком распространении реакционных идеалистических, субъективистских теорий, ставших методологической основой взглядов и концепций»⁴⁹.

Положение о противоречивом характере кризиса отечественной либеральной исторической науки постепенно утверждается в марксистской литературе. А начавшееся в СССР со времени «оттепели» развитие исследований в области методологии истории приводит к его распространению и на сферу

теории исторического познания. Так, отмечая неспособность русской буржуазной историографии дать «подлинно научное решение многочисленным теоретическим проблемам», Л. Н. Хмылев в конце 70-х годов отчетливо заявил, что «процесс становления методологии истории, протекавший в условиях кризиса исторической науки, как и весь этот кризис, носил противоречивый характер, включая в себя как негативные, так и позитивные элементы». «Положительным, — писал историк, — явился уже сам факт становления новой дисциплины. В исторической науке прочно утвердился гносеологический подход к анализу исторических знаний, она обогатилась большим количеством новых теоретических проблем, значительно усложнился логический аппарат методологии истории»⁵⁰.

При этом растущее стремление советских ученых к объективному исследованию процесса кризиса исторической мысли и одновременно идеологическая невозможность преодолеть давление принципа коммунистической партийности порой вызывали у них желание при оценке такого процесса вообще вынести понятие кризиса за рамки развития науки. По-видимому, действие этих факторов и привело в начале 80-х гг. Л. Н. Хмылева к утверждению о том, что позитивные моменты в развитии либеральной историографии России в понятие ее «кризиса» включать нельзя, а о кризисе буржуазной исторической науки следует говорить лишь как о явлении отрицательном⁵¹. Но такое утверждение ставило вопрос о целях и границах употребления идеологически-оценочного термина в научном анализе.

Вместе с тем принятое подавляющим большинством советских историков суждение о методологической природе кризиса отечественной либеральной историографии⁵² не привело их к единой точке зрения ни в вопросе о времени его начала, ни в определении его рубежей.

По вопросу о датировке начала кризиса русской буржуазной исторической науки в советской литературе сложились две основные точки зрения. Первую — определявшую начало кризиса годами Первой революции в России — поддерживали такие авторы, как О. В. Волобуев, Е. В. Гутнова, А. И. Данилов, Б. Г. Могильницкий, А. Н. Нечухрин, Б. Г. Сафронов, Л. Н. Хмылев, А. С. Шофман, связывавшие кризис с крахом

либерализма в ходе революции⁵³. Другую — относящую начало кризиса к девяностым годам XIX века и связывающую его наступление с усилением реакционной природы буржуазной идеологии вследствие обострения классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом в результате соединения стихийного рабочего движения с марксизмом и возникновения социал-демократического движения — разделяли такие историки, как М. А. Алпатов, А. А. Искендеров, И. Д. Ковальченко, В. Г. Сарбей, А. М. Сахаров, Л. В. Черепнин, А. Е. Шикло⁵⁴. По отношению к этим точкам зрения особую позицию занял лишь А. Г. Слонимский, отнесший начало кризиса ко времени первой революционной ситуации в России⁵⁵, которое остальные исследователи рассматривали как время расцвета собственно буржуазной отечественной исторической науки.

Такие разногласия демонстрировали стремление советских ученых обосновать своеобразие кризиса русской историографии. Однако они свидетельствовали и о недостаточности для понимания сущности кризиса и решения проблемы его периодизации простого указания на его методологическую основу. Последнее обстоятельство и обусловило, в частности, переход Л. Н. Хмылева в середине 80-х годов со своих прежних позиций к датировке начала кризиса 90-ми годами XIX века⁵⁶. Попытки же марксистских историков учесть при выделении этапов кризиса на ряду с методологической также политическую и концептуальную характеристики развития исторической мысли вели к еще большему разнообразию точек зрения. Это разнообразие требовало обоснования критериев периодизации кризиса отечественной исторической науки и решения вопроса о пределах ее дробления.

Так, А. Г. Слонимский выделял три этапа, или «волны», кризиса, связывая их с именами, во-первых, С. М. Соловьева, во-вторых, В. О. Ключевского, в-третьих, Н. П. Павлова-Сильванского и А. Е. Преснякова, и ставил, таким образом, выделение этапов и развитие самого кризиса в зависимость от создания «новых концепций русского исторического процесса»⁵⁷.

Группа исследователей, относящая начало кризиса к середине 90-х годов прошлого века, определенным образом учитывая позицию своих оппонентов, связывала с революцией 1905—1907 гг. наступление нового его этапа. Однако аргументы, приводимые представителями этой группы в обосновании отличитель-

ных особенностей по этапам развития кризиса отечественной либеральной историографии, имели определенные различия.

Л. В. Черепнин наступление «граней» кризиса связывал, по сути дела, лишь с политической переориентацией буржуазных ученых, определяя ее в годы революции 1905—1907 гг. как приобретающую открыто и активно контрреволюционный характер, а в годы империалистической войны — как великодержавно-шовинистическую; со времени начала Первой мировой войны, по Л. В. Черепнину, наступает третий этап кризиса⁵⁸. А. М. Сахаров, связывая рубеж в развитии кризиса с поражением Первой русской революции, стремился учесть при характеристике второго его этапа изменение как политических идей отечественных историков (более резкие нападки со стороны либеральных ученых на революционное движение), так и идей методологических (усиление мотивов принципиальной невозможности познания прошлого, неполноты и недостоверности корпуса источников)⁵⁹.

Такие же исследователи, как И. Д. Ковальченко, А. Е. Шикло и Л. Н. Хмылев, клали в основание своих характеристик этапов кризиса тот же фактор изменения методологической ориентации исторической науки, на основании которого определялось и начало кризиса. Но выводы, к которым приходили эти авторы, несколько отличались. И. Д. Ковальченко и А. Е. Шикло связывали этапы кризиса с преобладанием того или иного методологического течения: на втором этапе кризиса ими отмечалось широкое распространение неокантианства и эмпириокритицизма и выдвижение на передний план религиозно-философских построений в отличие от первого его этапа, на котором неокантианство не получило широкого распространения в буржуазной историографии, а ведущим направлением в ней был позитивизм⁶⁰. А Л. Н. Хмылев выделял три этапа кризиса, рубежи которых он обозначал началом 900-х годов и 1907 годом, связывая их с этапами теоретического перевооружения буржуазной исторической науки: на первом — в общих и основных чертах формируется программа такого перевооружения, на втором — создается релятивистская теория исторического познания, на третьем — создаются до известной степени завершенные методологические концепции и оформляются основные течения буржуазной исторической мысли: махизм, неокантианство, религиозно-мистическое⁶¹.

Наконец, в советской литературе не было однозначно определено и время окончания кризиса отечественной историографии, что обуславливалось наряду с прочими факторами и сложившейся под воздействием тех же идеологических мотивов разобщенностью сфер исследований специалистов в области дореволюционной и послеоктябрьской истории исторической науки в России. Так, если И. Д. Ковальченко и А. Е. Шикло время после 1905—1907 годов характеризовали как «завершающий этап в кризисе русской буржуазной историографии»⁶², а Л. Н. Хмылев прямо указывал на завершение кризиса в 1917 году, отмечая, что «кризис явился последним этапом в развитии дореволюционной историографии, непосредственно за которым следует становление советской исторической науки»⁶³, то Л. В. Черепнин, — пожалуй, единственный из советских исследователей кризиса, охвативший своим анализом как дооктябрьский, так и послереволюционный периоды развития отечественной немарксистской исторической мысли, — замечал, что после Октябрьской революции «завершение кризиса и крах буржуазной историографии нельзя понимать как ее автоматическое полное и бесследное исчезновение»⁶⁴.

И советские ученые, исследовательские интересы которых приводили их к анализу состояния немарксистской историографии в России после 1917 года, говорили об «углублении», «обострении» ее кризиса, более широких его размерах⁶⁵. А такие авторы, как А. И. Алаторцева и Е. Н. Городецкий, констатировали вступление буржуазной исторической науки после победы Октября в «последний», «завершающий», этап своего кризиса⁶⁶.

При характеристике послеоктябрьского состояния отечественной немарксистской историографии специалистами в области изучения становления советской исторической науки отмечались такие черты, на которые не обращалось внимание при анализе дореволюционного развития русской исторической мысли: усиливающееся у историков чувство несостоятельности, ограниченности и бессилия старой идеалистической методологии, осознание ими углубления кризиса своей науки, дифференциацию в среде буржуазных ученых по их политическим позициям⁶⁷. Но поскольку процесс кризиса отечественной либеральной историографии у этих авторов предметом специального анализа не являлся и интересовал их преимущественно в

аспекте борьбы с буржуазной историографией советских историков, они нередко отмечали как новые такие моменты в послеоктябрьском состоянии отечественной немарксистской исторической науки, которые уже находили ее исследователи в дореволюционное время. Говорилось об отказе от идеи поступательного закономерного характера исторического процесса, от возможности постижения исторической наукой объективной истины, о распространении после Октября антинаучных идеалистических субъективистских теорий исторического процесса, о нежелании и неспособности историков разобраться в существе происходящих событий, выражающихся в отрицании или фальсификации революционного движения в прошлом и настоящем⁶⁸. А Е. А. Луцкий, например, считал, что после 1917 г. «о дальнейшем обострении кризиса, а затем и о разложении буржуазной историографии в методологическом отношении» свидетельствовали попытки буржуазных историков противопоставить наступлению марксизма-ленинизма «главным образом позитивистские и неокантианские методологические установки»⁶⁹, что неоднократно было отмечено применительно к дореволюционному периоду развития исторической науки.

Процессы деполитизации и деидеологизации советской исторической мысли во время «перестройки» привели ученых к отказу от интерпретации кризиса историографии лишь как кризиса науки буржуазной. О таком отказе свидетельствовало, в частности, само обозначение темы «круглого стола», организованного Научным Советом АН СССР по историографии и источниковедению в Москве в декабре 1989 г., — «Понятие кризиса исторической науки». Большинство участников обсуждения этой темы начали рассматривать кризис историографии как нормальное и необходимое состояние в развитии научной мысли. Е. В. Гутнова обосновывала положение, что любая наука развивается не только путем преемственности, но и через отрицание; Б. Г. Могильницкий отстаивал взгляд на кризис историографии как на процесс ее развития, связанный со сменой парадигм; а А. Е. Шикло трактовала кризис как переходное состояние, связанное со стремлением что-то изменить и обычно сопровождающееся подъемом научного творчества, как это было в процессе развития русской исторической мысли на рубежах

XVII—XVIII, XVIII—XIX и XIX—XX веков. Но тем самым не только вновь поднимался вопрос об уровнях протекания кризиса исторической науки, но и ставился новый — о соотношении такого кризиса с кризисами в других сферах научной деятельности. К тому же проблема кризиса отечественной историографии приобрела новую актуальность в связи с попытками ряда историков вообще отказаться от оперирования понятием «кризис» при исследовании процесса развития исторической науки начала XX века. Неоднозначное воздействие процесса «перестройки» на развитие советской исторической мысли, обусловившее ее стремление к «переоценке ценностей», порой граничащее с простой заменой негативных оценок на положительные, породило у некоторых ученых вопрос: «О каком кризисе отечественной буржуазной историографии можно говорить на фоне нынешнего плачевного состояния марксистской исторической науки?». Подобный вопрос в дискуссии за «круглым столом» сформулировал Б. П. Балуев, заявивший при этом, что манипулирование понятием кризиса является данью вульгарно-социологическому мышлению⁷⁰.

Последняя точка зрения на проблему кризиса историографии получила развитие в постсоветское время в передовой статье «Историческая наука на пороге XXI века», написанной главным редактором журнала «Вопросы истории» А. А. Искендеровым. Интерпретируя понятие этого кризиса как «застой в науке», он утверждал, что «нет оснований характеризовать состояние российской историографии конца XIX—начала XX в. как кризисное», что «сама постановка проблемы кризиса российской историографии конца XIX—начала XX в. в значительной мере имела искусственный характер, преследовала цель полностью ее дискредитировать и показать, что подлинного расцвета историческая мысль достигла лишь в советское время»⁷¹.

При этом позиция А. А. Искендерова демонстрирует резкое обострение дискуссии о кризисе исторической науки, вышедшей за рамки академической полемики. Так, стремление незадолго до выхода названной статьи скончавшегося академика И. Д. Ковальченко осмыслить понятие кризиса историографии как общенаучную категорию, связанную с изменением коренной методологической ориентации исторического познания, А. А. Искендеров называет «проявлением консервативно-

го мышления» и выражением «охранительной тенденции», «сторонники которой стремятся по разным причинам сохранить статус-кво, заботясь при этом не столько об интересах науки, сколько о своем положении в ней»⁷².

Таким образом, проделав значительную работу по осмыслению причин, характера и своеобразия кризиса русской исторической мысли, отечественная историография до настоящего времени не нашла полных и отчетливых ответов на вопросы: какие этапы проходит он в своем развитии и на чем основываются критерии их выделения, пределы дробления его периодизации? возможно ли говорить о различных уровнях кризиса исторического творчества, об особом «кризисе буржуазной историографии»? каково соотношение идеологически-оценочной и научной характеристик кризиса?

Ход обсуждения этих вопросов убеждает, что ответам на них будет способствовать четкая дефиниция понятия кризиса в исторической науке, которая может выполнить функцию своеобразного ключа к общему теоретическому пониманию проблемы кризиса русской исторической мысли и которая пока не выработана в исторической литературе. Вместе с тем предпосылкой и исходным условием такой дефиниции должен стать ответ еще на один поставленный в процессе дискуссии о кризисе исторической науки вопрос: отличается ли кризис историографии от кризисов в других областях научного познания и человеческой деятельности?

§ 2. Определение понятия кризиса в исторической науке и критериев его периодизации

Логически последовательное выведение определения понятия кризиса в исторической науке следует начать с выяснения значения и природы категории «кризис», с тем чтобы на этой основе выявить место, своеобразие и сущность кризисов в науке вообще и в историографии в частности. Несомненно, что понимание такого своеобразия возможно лишь через осмысление специфики научного творчества в целом и истории как его составляющей.

Представляется, что именно эти шаги к дефиниции понятия «кризис в исторической науке» позволят, с одной стороны, ограничить сущностные характеристики кризиса в науке от его проявлений на разных уровнях исторического познания, в отдельных сферах исторического исследования, с другой — отделить научную интерпретацию такого кризиса от идеологически-оценочной его трактовки. Это отделение отнюдь не означает отказа от оценки развития историографии во время кризиса. Однако оценку характера и направленности такого развития, как расцвет или упадок науки, должно не предпосылать установлению факта кризиса, а проводить после его констатации.

Вместе с тем на прочерченном пути определения кризиса возникают трудности. Они связаны уже с изначальной многозначностью самого слова «кризис». Греческое по своему происхождению слово первоначально имело следующие смысловые значения: «суд», «судебное решение», «исход», «избрание», «спор», «разделение», «переломный момент». Притом именно последний смысл постепенно закрепляется у древних греков за термином «кризис». Его употребляют для обозначения перелома в ходе болезни в лучшую или худшую сторону (Гиппократ), в ходе военных действий (Фукидид), в развитии общества и государства (Аристотель)⁷³.

В значении переломного момента слово «кризис» чаще всего использовалось и в последующее время, включая научную и социально-политическую мысль XIX—XX вв.

Показательно, что при всей классовой заостренности своего творчества, прежде всего, в этом смысле употреблял термин «кризис» В. И. Ленин, говоря о «промышленных», «торговых», «политических» кризисах, о «кризисе современной физики», называя «кризисом в области экономических явлений» «всякую стачку», характеризуя как кризисы Первую мировую войну и «события 1905 года» в России, выделяя «крупный политический кризис» в ходе самой Первой русской революции, которым, с его точки зрения, явился роспуск 8 июля 1906 г. I Государственной Думы, считая «серьезным политическим кризисом» события в Петрограде 18 и 21 апреля 1917 года — «возмущение широких масс», — связанные с тем, что Временное правительство «приняло свою печально знаменитую ноту, подтверждающую захватно-грабительские цели войны»⁷⁴. Характер-

ны и попытки Ленина различить понятия «кризис» и «перелом»⁷⁵. Рассматривая кризис как такую стадию развития, на которой «резко и ясно проявляются основные тенденции, основные законы движения», обостряются и выводятся наружу скрытые противоречия такого движения и одновременно подводятся итог периоду «предыдущего развития», он, по сути дела, понимал под кризисом не всякую, а именно коренную ломку в процессе социально-экономического или политического развития (или одной из сторон развития), связанную с существенными изменениями этого развития и с завершением определенного его этапа⁷⁶. Если абстрагироваться от некоторых идеологически окрашенных пояснительных примеров к термину «кризис», то как «перелом», «переломное состояние» его трактует и «Словарь иностранных слов», добавляющий к такой трактовке прилагательные «резкий», «крутой», «тяжелое»⁷⁷.

Однако, даже при достижении согласия в интерпретации термина «кризис» как резкого или коренного переломного состояния в развитии какого-либо процесса или явления, сложности осмысления природы этого понятия не исчезают. Возможность его широкого многостороннего использования не позволила до настоящего времени построить общую теорию кризисов.

Серьезную попытку исследовать кризис как особую философскую категорию на основе анализа социальных кризисов предпринял Н. Г. Левинтов⁷⁸. Опираясь на идеи К. Маркса о кризисе как форме обнаружения единства внутренне несамостоятельных процессов в ходе их обособления, когда «в нечто самостоятельное» превращаются, по существу, составляющие «нечто единое» моменты, и завершающегося с восстановлением «единства моментов, ставших самостоятельными»⁷⁹, философ правомерно обуславливает кризисы диалектической противоречивостью развития элементов системы и структуры явлений⁸⁰. Он обоснованно определяет кризис как «такую стадию обострения противоречия между составом элементов системы и их структурой, которая превышает меру относительной самостоятельности каждой из сторон противоречия, ввиду чего структура превращается в тормоз развития системы и возникает возможность ее скачкообразного перехода в новое качественное состояние путем преобразования структуры»⁸¹.

Вместе с тем, давая двойное — широкое и узкое — толкование категории «кризис», Н. Г. Левинтов рассматривает собственно кризис только как «обострение противоположностей в рамках старой системы» и неоправданно исключает из него стадию скачка ⁸², что создает известную возможность приоритетно-оценочного употребления этого понятия и затрудняет осмысление процесса кризиса как целостного, самобытного и необходимого периода развития, органически связанного с борьбой противоположностей. Поэтому, принимая предлагаемый им общий критерий периодизации кризиса, связанный со степенью обострения противоречий между элементами системы и ее структурой ⁸³, для понимания кризиса как специфически необходимого процесса в развитии вообще и в движении научной мысли в особенности представляется важным, с одной стороны, дополнить выделяемые философом стадии возникновения и развития кризиса ⁸⁴ этапом его разрешения, с другой — более четко разграничить сам кризис и протекающую в рамках предшествующего качественного соотношения состава элементов системы и их структуры его подготовительную фазу — созревание симптомов кризиса, накапливание кризисных явлений. Природа науки не позволяет также полностью перенести на кризисы научные и выделяемые Н. Г. Левинтовым типы кризисов — не только кризисы периодические или повторяющиеся «с более или менее определенной периодичностью», но и перманентные, с необратимым обострением противоречий без временного выхода, хронические, спорадические кризисы ⁸⁵.

В методологической литературе прочно утвердилось положение о том, что отличительной гносеологической чертой научного творчества является создание новых для социального субъекта систем знания ⁸⁶. А крупный западный специалист в области теории науки Т. Кун утверждает даже, что постоянный прогресс «остается... почти исключительно атрибутом того рода деятельности, которую мы называем научной», отличая ее по этому признаку не только от политического развития, но и от развития философских знаний ⁸⁷.

Однако в своем стремлении к новому наука никогда не теряла известной устойчивости. Такая устойчивость была обусловлена ее опорой на определенную научно-исследовательскую программу, объединяющую ученых в коллективные субъекты дея-

тельности и выступающую фактором сохранения накопленного опыта, наличием в предшествующем знании элементов объективности и абсолютности, оправдавших себя методов исследования, тем, что сама возможность нового знания, связанная с постановкой научных проблем, определялась некоторым знанием об этой проблеме. Устойчивость науки детерминировалась также естественным согласованием ею своих теоретических построений, используемых методов познания с существующим культурно-историческим фоном, стилем мышления определенного периода. Такая устойчивость определялась и личностно-психологической направленностью ученых к стереотипизации сложившейся системы теоретических и практических операций с объектом своего исследования⁸⁸. Советские философы В. П. Ворожцов и А. Т. Москаленко справедливо отмечали, что «диалектика устойчивости и изменчивости теоретического знания играет значительную роль в развитии научного познания». «Устойчивость и изменчивость, — писали они, — выступают противоположностями, взаимообусловленными и дополняющими друг друга»⁸⁹.

Таким образом, ориентация научного творчества на получение нового знания обуславливает внутреннюю необходимость кризисов в науке, а его опора на традицию определяет как настоятельную потребность их разрешения и периодический характер самих кризисов, так и неизбежность борьбы научных идей, включающей сопротивление новациям со стороны приверженцев старых установок и концепций.

Наиболее основательный анализ кризисов в естествознании как необходимых и чрезвычайно важных стадий в развитии науки был проведен Т. Куном в книге «Структура научных революций», первое издание которой появилось в 1962 году. В этом анализе роль исходных выполняют два вводимых американским ученым понятия — «парадигма» и «нормальная наука». Следует заметить, однако, что если первое из предложенных им понятий представляет собой неоспоримый вклад автора в исследование существенных черт научной деятельности, то второе, связанное с противопоставлением названного так состояния науки «экстраординарным» периодам в ее развитии — времени научных кризисов и революций, — явно неудачно по своей формулировке. Как правомерно указывали критики Куна, «в самой сущности науки заложена коренная трансформация знаний».

«Поэтому научная революция, — писали С. Р. Микульский и Л. А. Маркова, — является нормой ее развития, а следовательно, с не меньшим правом нормальными можно назвать и периоды научных революций»⁹⁰. Более приемлемыми для характеристики стадий научного развития представляются используемые в методологической литературе понятия «наука устойчивых представлений» и «наука активного поиска»⁹¹.

Термином «парадигма» Кун обозначает «признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений», уподобляя парадигму «принятому судом решению в рамках общего закона», когда «она представляет собой объект для дальнейшей разработки и конкретизации в новых или более трудных условиях»⁹². А взаимосвязанным с этим термином понятием «нормальная наука» ученый определяет «исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых научных достижений — достижений, которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа для его дальнейшей практической деятельности», — усматривая цель «нормальной науки» в разработке «тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает»⁹³. И хотя, по его мнению, результаты «нормальной науки» могут быть предсказаны, но «сам способ получения результата остается в значительной мере сомнительным», завершением проблем нормального исследования, с его точки зрения, является разработка «нового способа предсказания, а она требует решения всевозможных сложных инструментальных, концептуальных и математических задач-головоломок»⁹⁴.

Базируясь на понятиях «парадигма» и «нормальная наука», Кун раскрывает внутренний механизм возникновения и развития кризиса в естествознании, наступающего тогда, когда аномалия, на которую наталкиваются ученые, «оказывается чем-то большим, нежели просто еще одной головоломкой нормальной науки», и ученые осознают невозможность решить проблему аномалии из правил прежней парадигмы⁹⁵. Теоретик науки указывает на роль «конкурентной борьбы между двумя соперничающими парадигмами» в процессе утверждения новой парадигмы⁹⁶, отмечает значение обращения ученых в процессе осознания кризиса «к философскому анализу как средству для

решения загадок в их области», «для ослабления власти старых традиций над разумом и выдвижения основы для новой традиции», хотя в другое время, на его взгляд, ученые «не хотят быть философами»⁹⁷. Он выделяет три варианта исхода кризиса:

1. «Нормальная наука в конце концов доказывает свою способность разрешить проблему, порождающую кризис».

2. «Проблема... остается в стороне в наследство будущему поколению в надежде на ее решение с помощью совершенных методов», когда не исправляют положение даже радикально новые подходы.

3. Возникает новый претендент на место парадигмы, и кризис разрешается в процессе борьбы за его принятие⁹⁸.

Сами же «переходы к новой парадигме» историк науки именует «научными революциями», определяя эти революции «как такие некумулятивные эпизоды развития науки, во время которых старая парадигма замещается целиком или частично новой парадигмой, несовместимой со старой», и приводит в качестве их «образцов» в истории физики открытия Коперника, Ньютона, Лавуазье, которые, по его словам, явились «великими поворотными пунктами в развитии науки»⁹⁹.

Своей концепцией Кун утверждает, что «последовательный переход от одной парадигмы к другой через революцию является обычной моделью развития науки»¹⁰⁰. Он показывает значение кризисов в процессе поступательного движения науки, характеризуя их как своеобразные сигнализаторы «своевременности смены инструментов» решения научных проблем, отмечая, что они «способствуют умножению новых открытий», а сопротивление изменениям во время кризисов гарантирует, «что парадигма не будет отброшена слишком легко»¹⁰¹.

Но рассматриваемые Куном процессы относятся исключительно к концептуальному уровню научного развития и, по сути дела, не касаются науки как таковой, изменения ее существенных структурных элементов. Сам ученый замечает, что описываемые им научные революции и соответственно предшествующие им кризисы являются действительно революционными преобразованиями «только по отношению к той отрасли, чью парадигму они затрагивают»¹⁰².

Наука представляет собой достаточно древний род человеческой деятельности. На протяжении своей истории она пре-

терпевала довольно серьезные изменения, связанные и с развитием научных исследований, и с культурно-историческим контекстом этого развития. Такие изменения обуславливают реальные трудности определения понятия «наука»¹⁰³. Так, в фундаментальном труде «Наука в истории общества» его автор Дж. Бернал, употребляя этот термин, по собственным словам, «в самом широком смысле», вообще отказывается от дефиниции понятия «наука», поскольку, с его точки зрения, ни одно определение науки «не будет исчерпывающим»¹⁰⁴.

Однако с учетом реальной практики конкретных исследований и пространственно-хронологических рамок развития научного знания представляется возможным выделить те сущностные структурные элементы науки, которые, по крайней мере со времени научной революции в Европе XVII века и до конца XIX столетия, не ставились под сомнение. В качестве таких элементов науки, как сферы человеческой деятельности, направленной на получение нового знания, выступали: во-первых, объективность как цель этой деятельности, во-вторых, обобщающе-систематизирующая форма или характер ее реализации и, в-третьих, рациональный по своей природе способ ее достижения.

По сути дела, эти элементы — при известной модификации их трактовки — лежат в основе и современного понимания научного творчества большинства ученых и философов. На объективное воспроизведение действительности и теоретическую систематизацию добываемых знаний как на отличительные черты науки указывают учебные пособия по методологии научного познания и энциклопедические словари¹⁰⁵. Выделяя главный отличительный признак науки, один из ведущих исследователей научного творчества В. С. Степин отмечает, что таковыми являются установка на изучение «законов преобразования объектов и реализующая эту установку предметность и объективность научного знания»¹⁰⁶.

Опора на научную рациональность как основанный на работе разума над фактами под контролем опыта метод приобретения знаний, сформировавшийся в XVII—XVIII вв., в эпоху становления экспериментального и математического естествознания, и отличающийся от доминировавшего от Аристотеля до Галилея априорного рационализма, также во многом сохраняет свое значение для науки по сей день. При всех различиях интер-

претации понятия рациональности и ее критериев в философии и методологии науки XX столетия, именно рациональность оказывается той демаркационной линией, по которой проводится разграничение между наукой и ненаучными знаниями ¹⁰⁷.

Нельзя отрицать известного взаимопереплетения рационального и иррационального моментов в процессе функционирования науки. Чувственно-эмоциональная окраска является неотъемлемым компонентом научного поиска. А полученные рациональным способом результаты исследования могут восприниматься людьми как нечто неразумное. Но при всем том рациональность выступает как важнейшее средство выражения наукой своей обобщающе-систематизирующей формы и реализации ею объективной цели познания. Как обоснованно отмечается в философской литературе, кроме логического, не существует иного пути теоретического овладения явлениями и процессами действительности ¹⁰⁸. Рациональные методы возможно использовать и для обоснования ложных постулатов. Однако у человечества нет иных способов постижения объективности. Указывая на роль рационализма в преодолении субъективных элементов в познавательном процессе, В. С. Швырев пишет: «Рациональность как духовная ценность является... необходимым в культуре противовесом против всякого рода аутизма в сознании, “замыкания” на себя, на собственную культурную, социальную, национальную, личностную и т. д. ограниченность» ¹⁰⁹.

Природа науки обуславливает то, что общенаучные кризисы реализуются на уровне ломки представлений об одном или всех ее структурных элементах и возникновения противоречия в их согласовании. То есть, даже сопутствуя внутринаучным кризисам, кризис науки в целом разворачивается на ином — методологическом — уровне, который формируется, как обращается внимание в литературе, под воздействием философии ¹¹⁰.

Развитие общенаучного кризиса связано с характером этой ломки и степенью обострения вызываемого ею противоречия в толковании соотношения цели, формы и метода научного исследования. Несомненно, такое развитие также сопровождается борьбой идей и сопротивлением новому сторонников прежних взглядов на структурные элементы науки и их согласование, которое имеет не меньшее позитивное значение, чем сопротивление в процессе внутринаучных кризисов. Однако фило-

софско-методологический характер этого кризиса определяет специфику его течения.

Присущий философскому знанию концептуальный плюрализм и постоянная взаимная критика рождаемых таким знанием построений делают неприемлемым употребление для описания методологических кризисов понятия парадигмы. По мнению самого Т. Куна, отличие философии от науки состоит в том, что в ней никогда не существует единой общепризнанной парадигмы и она всегда представляет собой поле битвы различных точек зрения¹¹¹. Поэтому при исследовании общенаучного кризиса возможно фиксировать не принятие всем научным сообществом в определенное время в качестве модели своих действий некоторых научных достижений, а лишь преобладание той или иной методологической позиции на известном временном промежутке.

Вместе с тем отмечаемая самими философами претензия философской системы, «в отличие от научной теории... на всеобщую значимость выдвигаемого ею принципа или системы принципов»¹¹², обуславливает сокращение потенциальных вариантов выхода из общенаучного кризиса по сравнению с кризисами внутри науки. В трактовке структурных элементов научного знания и их соотношения мыслителям, стремящимся к построению оригинальных концепций, не свойственно возвращаться на абсолютно те же позиции, тем более оставлять решение возникающих проблем в наследство будущим поколениям. Но пересмотр представлений о цели, характере, средствах науки и их соотношении имеет реальные пределы, которые детерминированы устойчивостью структуры научного творчества и за которыми может произойти его ликвидация как своеобразной формы человеческой деятельности.

Общенаучный кризис в рамках европейской методологической мысли начался на рубеже XIX—XX вв., когда в ней обнаружилась тенденция к релятивизации истины науки. А в свой новый этап такой кризис вступил в 60-е годы, когда, как констатирует П. П. Гайденок, постпозитивистская философия науки пересматривает категорию рациональности и утверждает исторический подход в ее понимании, не имевший до этого времени широкого распространения¹¹³. В процессе такого кризиса выдающиеся естествоиспытатели, в частности физики,

проявляли интерес к философскому осмыслению проблем своей науки, притом не только логико-методологическому, но и мировоззренческому, этическому¹¹⁴. Этот интерес мог стимулировать научные поиски и открытия ученых. Однако он не затрагивал сколько-нибудь существенным образом содержания их конкретных исследований.

Развитие исторической науки, формировавшейся по образцу естествоведения и его сущностных структурных элементов, не могло не отразить в себе характерных черт кризисов в естественно-научных дисциплинах и кризиса науки в целом. Вместе с тем качественная специфика исторического познания, связанная с тем, что оно имеет дело не с противостоящими познающему субъекту явлениями природного мира, а с человеком и человеческим обществом в истории, обуславливает своеобразие течения таких кризисов.

Проведя глубокий и всесторонний анализ специфики исторического познания, Б. Г. Могильницкий выделил три вопроса, рассмотрение которых позволяет в основном раскрыть эту специфику: 1) вопрос о предмете исторической науки как «отправной момент» «всех рассуждений о природе истории»; 2) вопрос о взаимоотношении истории и современности, обращение к которому «диктуется самим характером истории как социальной науки»; 3) вопрос о социальных функциях исторической науки¹¹⁵.

Историографические исследования убедительно демонстрируют, что историческое знание при всех своих различиях и направленности на изучение либо индивидуального, либо общего, либо особенного в истории всегда стремилось в лице своих крупных представителей к целостной реконструкции человеческой деятельности¹¹⁶. Такой характер исторической реконструкции отчасти объясняет известную расплывчатость и аморфность ряда определений предмета исторической науки. Однако попытки отказаться или кардинальным образом ограничить целостное постижение человеческой истории, по сути дела, ведут к ликвидации исторической науки как самостоятельной и самобытной дисциплины¹¹⁷. И. Д. Ковальченко правомерно указывал, что, даже в отличие от других общественно-гуманитарных наук, «объектом познания которых... являются определенные целостные компоненты общественного развития» — социально-экономический, политически-правовой, общественно-

идеологический, художественно-культурный, нравственно-этический, социально-психологический, — «объект познания исторической науки — вся совокупность явлений общественной жизни на протяжении всей истории общества. Таким образом, по заключению ученого, историческая наука по сравнению с другими конкретными общественно-гуманитарными науками выступает как наука комплексная, интегральная¹¹⁸.

Конечно, и на функционирование естествознания воздействуют современные ему социально-культурные условия, от которых зависят такие характеристики науки, как выбор самой линии ее развития и направлений научных исследований, объем научных разработок и скорость их внедрения в производство, темп и широта распространения научных идей¹¹⁹. Но степень и границы этого воздействия на естествознание и историю имеют качественные различия. Сравнивая историческую науку и физику, Б. Г. Могильницкий обоснованно выделяет два момента, качественно отличающие их взаимосвязь с современностью. «Во-первых, — пишет он, — продуцируемое исторической наукой историческое сознание является важнейшим элементом общественного сознания, активно влияя на политику и идеологию общества, формируя во многих существенных элементах его духовный облик. Во-вторых, не менее действенным является обратное воздействие современности на историю, оказывающее непосредственное влияние как на сам процесс познания исторической действительности, так и на его результаты»¹²⁰. Различие исторических и естественных наук проявляется в том, что первые часто прибегают к внешнему оправданию своего выбора исследовательских проблем их социальной значимостью, тогда как вторые, по замечанию Т. Куна, «почти никогда этого не делают»¹²¹. После глубокого обоснования историческим презентизмом положения о влиянии современности на процесс исторического творчества¹²² отрицать такое влияние стало невозможно и дискуссии в методологии истории начали вестись не о полной элиминации современной системы ценностей из историографической практики, а о способах ограничения ее негативного воздействия на получение истинного знания¹²³.

Более тесная связь с современностью определяет и более широкое социальное функционирование истории в сравнении с естествознанием. Она реализует не только познавательную,

или эвристическую, функцию, но и функцию социальной памяти, воспитательную, или просветительскую, функцию¹²⁴.

Своеобразие субъектно-объектных отношений в исторической науке и обусловленная им специфика исторического познания, в свою очередь, определяют особенности активности субъекта в историческом исследовании. Эти особенности выражаются в том, что историческое объяснение носит оценочный характер, историческая реконструкция — характер синтетический, а для познания истории большое значение имеют ее интегративные связи с другими научными дисциплинами и, прежде всего, с философско-методологическими принципами исследования¹²⁵.

Решающую роль теории и методологии в развитии исторического знания подчеркивают многие специалисты в области историографии и методологии истории¹²⁶. Так, выделяя ряд уровней исторической науки: 1) теорию и методологию исторического познания; 2) проблематику; 3) источниковую базу; 4) методы обработки и анализа конкретно-исторических данных и их синтеза; 5) общие и конкретные концепции исторического развития, — И. Д. Ковальченко и А. Е. Шикло справедливо утверждают, что «ведущим или... системным элементом данной структуры является теория и методология исторического познания». «Именно она, — пишут ученые, — оказывает определяющее воздействие на другие элементы и характер их взаимосвязи, обеспечивает внутренний прогресс исторической науки»¹²⁷. А. М. Сахаров убедительно показывает, что смена философско-методологических ориентаций русской историографии — провиденциалистской, рационалистической, гегельянской, позитивистской — вела к превращению исторических знаний в науку, утверждению воззрения на исторический процесс как внутренне обусловленный, органический процесс общественного развития, преобразению концепций развития истории, расширению исторической проблематики и углублению работы с историческими источниками¹²⁸. И если естествоиспытатели обращаются к философскому осмыслению проблем своей науки преимущественно в периоды кризисов своей отрасли знания или науки в целом, то, например, в отечественной историографии XVIII — начала XX в. трудно найти сколько-нибудь значительного историка — от В. Н. Татищева и М. М. Щербатова до

П. Н. Милюкова и Н. П. Павлова-Сильванского, — который бы в той или иной форме не решал для себя вопросы о тенденциях смены социальных структур, о характере и особенностях тех или иных этапов исторического процесса, о движущих силах истории и обуславливающих ее внутренних и внешних факторах, о роли индивидуальных и общих моментов в историческом развитии. Притом если философские размышления представителей естествознания прямо не затрагивают содержания их конкретных исследований, то философские взгляды историков находили непосредственное выражение в их конкретно-исторических концепциях.

Неразрывная взаимосвязь истории и современности, широкая социальная активность исторической науки при ее стремлении к синтетическому постижению своего объекта и тесных контактах со многими научными дисциплинами, и особенно с философией, обуславливают несравненно большее влияние на течение кризисов в историографии общественно-политических и экономических процессов в отдельных странах, особенностей развития в них научной и философской мысли, чем это имеет место в ходе кризисов в естественных науках. А исследователям кризисов исторической мысли обуславливающие их факторы дают определенные основания рассматривать эти кризисы не только как многоуровневые, но и как многоаспектные процессы.

Занимаемые историками социальные позиции позволяют объединить их в некоторые группы и употреблять при описании развития историографии и ее кризисов термины «либеральная», «буржуазная» и т. п. Но такие термины не будут отражать сути научного творчества. Изменение таких позиций при всей важности его воздействия на историческое знание может поэтому рассматриваться только как проявление кризиса исторической науки. К тому же близкие по своему смыслу размышления об историческом процессе и процессе его исследования вполне возможны у ученых с различными общественно-политическими воззрениями.

Историческая наука как составляющая общенаучной деятельности, нацеленной на постижение объективной истины, также должна по своей природе ориентироваться на общепринятые научные достижения. Вместе с тем противоречивое влияние на историческую мысль разнообразных факторов обуславливает то, что такая ориентация оказывается значительно ме-

нее широкой и устойчивой, чем в процессе познания явлений природного мира. Это делает гораздо более трудным сравнительно с естествоведением фиксацию парадигм в ходе развития исторического знания. Например, не представляется возможным однозначно ответить на вопрос, являлась ли парадигмальной в историографии девятнадцатого столетия теория прогресса, о которой Р. Ю. Виппер говорил как об одной из главных догматов науки и культуры XIX века¹²⁹. Ведь в это время в одних и тех же странах и регионах такая теория воспринималась по-разному не только отдельными представителями исторической мысли, как Н. Я. Данилевским в России, но и целыми течениями, как романтизмом в немецкой историографии. Вообще, важный для осмысления тенденций развития исторической науки вопрос о существовании и роли в ней парадигмальных установок до настоящего времени остается проблематичным и требующим специального углубленного анализа.

Разнообразие конкурирующих в историческом творчестве точек зрения определяет то, что кризисы в исторической науке, разворачивающиеся даже на ее концептуальном уровне, могут охватывать лишь отдельные течения или школы и вовсе не затрагивать не принадлежащих к ним ученых.

Вместе с тем решающая роль методологии в развитии исторического знания обуславливает то, что по сравнению с общенаучными кризисами в естествознании методологические кризисы в историографии занимают более заметное место и более интенсивно вовлекают в себя непосредственно профессиональных историков. В известной мере такие кризисы определяют и ведущие позиции философии в их течении.

При этом если понятие парадигмы неприемлемо в описании общенаучных кризисов в естествоведении, то оно оказывается тем более непригодным для анализа методологического кризиса в исторической науке. Так, применение А. Н. Нечухриным категории «парадигма» при исследовании эволюции позитивистской историографии в России приводит его, с одной стороны, к явной недооценке роли неокантианства в истории отечественной исторической мысли начала XX века, с другой — к весьма серьезным оговоркам при отнесении того или другого ученого — Р. Ю. Виппера, В. М. Хвостова, М. М. Хвостова, Е. Н. Щепкина — к выделяемой им «парадигме критического позитивизма»¹³⁰.

Более эффективным для осмысления эволюции методологических течений в исторической науке представляется использование не категории «парадигма», а понятия «научно-исследовательская программа», которая в отличие от парадигмы создается в рамках философской системы, задавая определенную картину мира, базисные положения научного объяснения и организации знания, условия его достоверности, но которая не тождественна философской системе, являясь средством перехода от общемировоззренческих принципов к раскрытию связи явлений эмпирического мира, заключая в себе характеристику предмета и метода исследования и возможность возникновения на своей основе ряда научных теорий¹³¹. Для понимания же сути, характера и направленности методологического кризиса в историографии возможно и необходимо выделять не парадигмы, а преобладающие или — точнее — ведущие на определенном временном промежутке методологические течения, в рамках смены которых и происходит ломка представлений о цели, форме, способе исторического знания и вызываемое ею изменение научно-исследовательских программ. Такие течения объединяют в себе группу историков и философов с кардинально общими взглядами на природу, принципы и методы исторического познания¹³².

Подводя в 1982 г. итоги исследования проблемы кризиса русской исторической науки, И. Д. Ковальченко и А. Е. Шикло ближе всего подошли к оценке значимости смены ведущих позиций методологических течений в движении этого кризиса¹³³. Вместе с тем характер их работы обусловил то, что ими не был поставлен вопрос об основаниях признания того или иного течения ведущим.

Констатация того, какое теоретико-методологическое течение занимает в процессе конкурентной борьбы идей ведущие позиции в определенный период истории исторической мысли, является непростым делом, требующим многостороннего конкретно-историографического анализа. Ведущие позиции того или другого методологического течения не определяются числом ученых, отстаивающих его идеи. К тому же при всем интересе историков к проблемам философии истории круг тех, кто специально исследовал такие проблемы, тем более вопросы теории исторического познания, кто разрабатывал собственные

методологические концепции, был всегда немногочислен. Отправными пунктами этого анализа должно стать фиксирование определенной роли выдвигаемых течением идей в методологических дискуссиях современной ему науки, силы их влияния на теоретические поиски ученых, широты их распространения в процессе обучения и в учебной литературе, в которой закрепляются достижения научного творчества и, прежде всего, формируется база его традиционных устоев. Принимая во внимание характер социального функционирования исторической науки, важно учесть и степень распространения постулатов течения среди исторической общественности, выходящей за круги профессиональных историков и даже обучающихся истории студентов. Безусловно, такое влияние не будет действенным и глубоким, если у представителей этого течения не появятся крупные методологические труды, в которых обосновываются их теоретические воззрения.

Выдвижение на ведущие позиции нового теоретико-методологического течения, несомненно, приведет к усилению критики им платформ своих предшественников. Однако природа философского творчества, с которым тесно связаны методологические течения, не только не обусловит быстрого отказа от взаимной критики, но скорее обострит сопротивление новациям.

Таким образом, кризис в исторической науке можно определить как процесс коренной ломки принятых в ней ранее установок о цели, форме и способе исторического исследования, выражающийся в смене ведущих позиций теоретико-методологических течений в исторической мысли и усилении борьбы идей в сфере методологии истории.

Специфика связи исторической науки с современностью может вызвать более быстрые темпы движения методологического кризиса в историографии по сравнению с общенаучными кризисами в естествоведении. Но его этапы и пределы дробления периодизации обуславливаются происходящей в рамках ведущих теоретико-методологических течений такой же ломкой представлений о том или другом структурном элементе исторического знания — объективности как его цели, его обобщающе-систематизирующей форме, рациональной природе способа его познания — и определяемой этой ломкой степенью обострения противоречия в согласовании таких элементов. При этом существенное изменение в толковании рациональной природы

метода исторического исследования, имеющего особое значение в организации структуры научного творчества, особенно обостряет напряжение кризиса.

Исходя из этого, можно выделить три основных этапа кризиса в исторической науке: 1) этап возникновения, когда происходит ломка представлений о том или ином ее структурном элементе, получающая свое теоретическое обоснование в рамках занимающего ведущие позиции методологического течения; 2) этап развития, связанный с переломом толкований других элементов, происходящих в лоне новых ведущих течений и с максимальным обострением противоречия в соотношении таких элементов; 3) этап разрешения, на котором возможен пересмотр всех структурных элементов научного знания, но если история сохраняет статус науки, на нем устанавливается внутреннее единство в понимании соотношения цели, формы и средств историографии на качественно новом уровне. Конечно, кризис в исторической мысли не является моментальным актом. Его началу предшествует подготовительная стадия созревания, связанная с формированием у ученых критического отношения к собственной методологической платформе, с их попытками усовершенствовать ее на основе ее же коренных исходных установок, с осознанием историками неизбежности наступления кризиса в своей науке.

Учитывая зависимость кризиса в историографии от существенных изменений воззрений ее представителей на структуру исторической науки, а также важную роль социально-политических процессов в развитии исторической мысли применительно к истории русской исторической науки начала XX века, представляется возможным связать рубежи ее методологического кризиса с серединой 900-х, 1917-м и серединой 20-х годов.

Глава II

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРИЗИСА В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (СЕРЕДИНА 900-х—1917 г.)

§ 1. «Преодоление» позитивизма и утверждение ведущих позиций неокантианского течения в исторической мысли России

Теоретико-методологические основы исторической мысли России начали колебаться на рубеже XIX—XX веков.

В последней трети девятнадцатого столетия господствующее положение в отечественной историографии занимала философия позитивизма¹. Позитивистская концепция привлекала историков своими идеями о закономерном прогрессивном характере исторического процесса. Базируясь на традиционных со времени революции в естествознании XVII века представлениях о цели, способе и форме научного творчества, позитивизм импортировал ученым утверждением возможности достижения в истории такой же объективности посредством таких же рациональных методов, как и в естественно-научных дисциплинах, уверенностью, что в исторической науке возможно открыть такие же законы, как в физике и биологии. Правда, открытие исторических законов в позитивистских построениях обуславливалось длительной подготовительной работой по собиранию и обработке необходимого для этого материала, работой, вызываемой, по мнению теоретиков позитивизма, более низкой стадией развития науки о прошлом человеческого общества по сравнению с науками о неживой и живой природе. Но ориентированность позитивистской методологии на обобщающий характер познания истории объективно способствовала не только тщательному и широкому исследованию источников и фактов прошлого, но и решению учеными ряда крупных исторических проблем.

При этом восприятие русскими сторонниками философии позитивизма ее научно-обобщающей направленности было до-

статочно заметным и устойчивым. В историографической литературе правомерно указывается на ведущую роль в отечественной исторической науке вплоть до начала XX века именно таких ученых позитивистской ориентации, как П. Г. Виноградов, В. О. Ключевский, которые стремились к серьезным научным обобщениям и вскрывали отдельные закономерности исторического развития ².

Такое восприятие позитивизма историками России объяснялось не только его научной и социальной направленностью, но также в известной мере особенностями общественно-экономической и идейно-политической обстановки страны. Место и роль позитивистской методологии в отечественной историографии, по верному наблюдению Е. В. Гутновой, определялись ее противостоянием официальной идеологии и религиозному мировоззрению в условиях сохранения сильных пережитков феодализма в русской пореформенной действительности ³.

Вместе с этим логика развития исторической науки, процессы, разворачивающиеся в естествознании, изменение социально-политической ситуации в России в конце XIX — начале XX в. вызывали в отечественной исторической мысли нарастание неприятия теоретико-методологических установок позитивизма.

Расширение и углубление исследования прошлого, связанное с преодолением узости европоцентристского взгляда на историю и вовлечением в процесс изучения новых явлений, особенно социально-экономического характера, совершенствование техники обработки источников, с одной стороны, все более противоречило создаваемым позитивистским теоретическим схемам, с другой — требовало осмысления сложности и своеобразия исторического познания, включающего в себя специфическую активность субъекта познания. А позитивистская методологическая концепция в стремлении уподобить историю естественным наукам как своему образцу игнорировала такое своеобразие. По сути дела, позитивисты не считались и с особым, самостоятельным значением фактического материала в исторической науке. При всем своем эмпиризме особенному и единичному, описательной истории позитивизм, по существу, отводил лишь подчиненную роль по отношению к конструированию законов развития общества.

Росту неприятия позитивистской философии в определенный мере способствовали и перемены, происходившие в это время в естественно-научных дисциплинах. После открытий делимости атома, квантовой теории и теории относительности, заложивших основу современной генетики закона дискретной наследственности и хромосомной теории наследственности, естествоиспытатели постепенно отказываются от идеала единственно верной теории, прямолинейного подхода к постижению картины мира, осознают невозможность объяснения состояния целого из состояний его частей, роль случайности в мире природы, вероятностный характер причинности, релятивность истинности своих теорий. Такие процессы, которые начинаются в естествознании с конца XIX столетия и в ходе которых происходит преобразование стиля науки и становление неклассического естествоведения, В. С. Степин точно характеризует как период глобальной научной революции ⁴.

Нарастание негативного отношения к позитивизму на рубеже XIX—XX вв. было связано также со все более отчетливо обнаруживающимися противоречиями в существующих социально-экономических, политических и духовных структурах, сопровождавшихся обострением общественных конфликтов. В этих условиях часть обществоведов все более утрачивала веру в законосообразный характер исторического процесса. Такую веру все более замещало представление о хаотичном и случайном развитии истории и одновременно нарастало ощущение потребности поиска нового обоснования нравственных устоев жизни общества.

В конце XIX столетия в отечественной историографии разворачивается острая критика позитивистских методологических установок. Так, Д. М. Петрушевский в 1899 г. характеризовал социологию позитивизма как «суррогат общественной науки», как наивный догматизм, «который так тормозит исторический анализ, можно сказать, усыпляет его глубокомысленными словами без значения и широкими формулами без содержания»⁵. А Р. Ю. Виппер в статье 1900 г. отвергал позитивистскую концепцию за то, что она «поддерживала» заблуждение обыденного («популярного») сознания о тождественности фактов и их группировок нашему восприятию, за то, что «позитивистское направление мало интересовалось самим научно мыслящим субъектом». «Молчаливо позитивизм, — писал историк, — принимал

человеческий ум за аппарат, за группу средств, служащих для простого и чистого отражения внешних фактов. Наши умственные определения вещей он склонен был отождествлять с сущностью вещей; в наших схемах, рубриках, классификациях, периодизациях позитивизм склонен был видеть истинный порядок, реальные соотношения самих вещей; наконец, в повторяющихся впечатлениях смены или одновременности явлений позитивизм думал найти не что иное, как отражение законов движения и сосуществования самих явлений»⁶.

Антипозитивистская реакция на рубеже XIX—XX вв. шла и в русской философской мысли. Отечественные философы выражали резкое неодобрение позитивизму за его натурализм и «деспотизм точной науки», предъявляли претензии к научному реализму, рационализму, материализму и моральному релятивизму позитивистской концепции, подвергали ее критике за неспособность решить этические проблемы, за ее атеизм, анти-теологизм и антиспиритуализм⁷.

Первоначальные итоги критике позитивизма в русской философской и обществоведческой литературе были подведены в вышедшем в 1902 году в издательстве Московского Психологического общества объемистом сборнике «Проблемы идеализма». Участники этого сборника, который явился этапным антипозитивистским манифестом в России, на первых же его страницах заявляли, что они исходят из «критического отношения к недавнему прошлому нашей мысли, связанному с господством позитивизма»⁸. Позитивистская концепция характеризовалась ими как «узкая» система, лишенная твердых оснований и критической осторожности, догматически относящаяся к вопросам познания⁹. При этом авторы «Проблем идеализма», — прежде всего, философы и юристы — называли основными мотивами своего пересмотра построений позитивизма его неспособность решить морально-практические проблемы. «Позитивные построения, — писал редактор сборника П. И. Новгородцев, — не выдержали и не могли выдержать испытания выросшей мысли: перед лицом сложных и неустранимых проблем нравственного сознания, философской любознательности и жизненного творчества они оказались недостаточными»¹⁰. По мнению Новгородцева, позитивизм, не желавший знать «ничего, кроме опытных начал», оказался бессильным разрешить

жизненно первоочередные вопросы о безусловном значении личности и нравственном идеале. Выражая позицию участников «Проблем идеализма», редактор писал в своем предисловии: «Та основная проблема, которая в наше время приводит к возрождению идеалистической философии, есть прежде всего проблема моральная, и соответственно с этим нам представляется важным обратить особенное внимание на выяснение вопросов этических»¹¹.

Единственным профессиональным историком в коллективе авторов «Проблем идеализма» был А. С. Лаппо-Данилевский, выступивший в сборнике с обширной статьей «Основные принципы социологической доктрины О. Конта». При этом одним из рецензентов «Проблем идеализма» статья Лаппо-Данилевского была названа «едва ли не самой ценной» частью всей книги¹².

Лаппо-Данилевский показывал ограниченность философской системы основоположника позитивизма. С точки зрения историка, эта ограниченность заключалась в «грубом реализме» Конта, абсолютизации им принципа относительности наших знаний, догматическом утверждении тождественности социальных и естественных законов, недоучете значения психологии в истолковании явлений общественной жизни¹³. Отечественный ученый метко вскрывал логическую несогласованность контовских философских построений, усматривая основную причину внутренней противоречивости Конта в его попытках приложить начало позитивизма к обществоведению и объяснить «без остатка» человеческую жизнь действием механических процессов¹⁴.

Вместе с тем в отличие от большинства участников сборника Лаппо-Данилевский в своей критике позитивизма был значительно сдержаннее и, по существу, стремился усовершенствовать позитивистскую концепцию, исходя из ее собственных оснований. Он считал, что философия Конта до сих пор еще не утратила своего социально-этического интереса¹⁵, и полагал возможным разрешить ее противоречие посредством сознательного применения психологии к объяснению социальных фактов и обращения к теории познания И. Канта, что, по его мнению, способствовало бы превращению «социальной физики» «в особую науку, отличную от наук физических»¹⁶. При этом, с точки зрения русского историка, некоторые элементы философской концепции Конта сами свидетельствовали о необхо-

димости воспользоваться предлагаемыми им средствами: он говорил о спонтанном вторжении психологии в его социологическое построение и отмечал близость к теории Канта ряда контовских рассуждений о познании, в которых признавалась необходимость различения «позитивизма» и «эмпиризма» и фактически отрицалась пассивность человеческого разума в опыте¹⁷. «Если бы Конт сознательно пользовался теми гносеологическими и психологическими предпосылками, которые сами собою проникли в его философию, — писал ученый, — он, вероятно, легко понял бы смысл такого превращения <социологии в «особую науку»>; но он не выяснил ни оснований своих скрытых допущений, ни того, в какой мере они должны и могут быть применены к построению социологии»¹⁸. По сути дела, в статье о Конте Лаппо-Данилевский выступал не с отрицанием самих законов истории, а только с критикой контовских утверждений о всеобщем значении и постоянстве социальных законов за их необоснованность¹⁹.

Можно согласиться с Н. И. Кареевым, который замечал, что Лаппо-Данилевский в своей критике Конта осуждал «не научную положительность его стремлений и инициативу основания новой положительной науки, социологии, а то, что первой он не дал прочного обоснования, а ко второму приступил без обоснованных предпосылок»²⁰.

Сосредоточивая свое внимание на выявлении методологической несостоятельности позитивистского учения, отечественная историография на рубеже XIX—XX столетий в отличие от философской мысли России практически не предъявляла ему претензий общемировоззренческого характера. Впрочем, даже критикуя позитивизм, русские историки в это время признавали свою зависимость от позитивистских традиций («в способе наших рассуждений, в постановке вопросов, в наших сравнениях и аналогиях, во всей нашей терминологии»²¹), допускали еще возможность «возврата» к позитивизму²². И вообще, антипозитивистская реакция в отечественной исторической науке, по крайней мере, до середины первого десятилетия двадцатого века, была более мягкой и менее широкой по сравнению с русской философией.

Неприятие позитивизма исторической мыслью России возрастает после 1905 года, проявляясь в усилении и расширении ею критики позитивизма и окончательном создании ее пред-

ставителями собственных методологических концепций антипозитивистского звучания.

Усиление критики построений позитивизма частью русских историков выразилось в том, что ученые начинают отвергать не только позитивистскую трактовку принципов и методов исторического познания, но и заявлять о непонимании позитивистами самой цели и сущности изучения прошлого, об объективной направленности поэтому методологии позитивизма на ликвидацию истории как самостоятельной научной дисциплины.

Характерной в этом отношении явилась критика В. М. Хвостова. С его точки зрения, в классификации наук О. Конта история «совершенно не находит себе места», поскольку в ней игнорируется нацеленность исторической науки на исследование индивидуальных явлений и процессов: конкретные науки об обществе в контовской схеме, говорил он, отличаются от абстрактных лишь тем, что «применяют общие законы к действительному состоянию различных существ» и, таким образом, «под конкретным в его системе разумеется общее, а не индивидуальное»²³. При этом, по мнению отечественного историка, позитивисты, считая наукой только знание об общем и стараясь превратить в науку об общем и историю, не только «уничтожают историю как таковую и заменяют ее социологией или статистикой», но наносят ощутимый ущерб социологии; они, считал ученый, «достигают только отрицательных результатов: в их трудах исчезают важнейшие особенности истории как таковой, но они не создают и социологии в ее настоящем виде». «Направление это, — заключал он, подводя итоги своей критике позитивизма, — стирает неясную грань между историей и социологией и, как всякая неясность в постановке задач, действует во вред как социологии, так и истории»²⁴.

Вместе с тем, по сравнению с оценками позитивистской теории русскими историками в конце девяностых — начале девятисотых годов, Хвостов расширяет ее критику, говоря о ее мировоззренческой недостаточности. С его позиции, позитивизм «проникнут догматической верой в самодовлеющее значение эмпирической науки и не хочет ничего слышать о метафизической философии, сознательно выходящей в своих построениях за границы возможного опыта»²⁵.

Еще более ярким показателем перемены отношения отечественной историографии к позитивизму после Первой русской революции явилось выдвижение ею новаторских антипозитивистских построений.

Конечно, в России оставались обществоведы, воззрения которых не претерпели серьезных изменений. Некоторые историки и философы — сторонники позитивизма — продолжали хранить верность основополагающим постулатам позитивистской теории. В дооктябрьский период не меняли своих методологических ориентаций и представители марксизма в отечественной исторической мысли, в целом разделяющие принципиальные положения методологии истории позитивизма. Ряд историков — В. П. Бузескул, А. К. Дживелегов, Н. А. Рожков, М. И. Ростовцев, Е. В. Тарле, М. М. Хвостов — пытались реформировать позитивистскую концепцию, не порывая с ее коренными методологическими установками и продолжая признавать ее научную значимость²⁶. Так, в 1914 г. Е. В. Тарле писал: «Может быть и много грехов числится за позитивизмом семидесятых годов, но уместные навыки — и именно историкам... — он давал хорошие»²⁷.

Однако формулирование антипозитивистских теорий знаменовало собой завершение этапа господства позитивизма в русской историографии. При этом выдвижение и активное распространение таких теорий, являющееся специфической особенностью развития исторической мысли России после 1905 года, вряд ли можно объяснить без учета воздействия на него социально-политической обстановки в стране и влияния на развитие исторической науки отечественной философии. Ведь, например, занимавшая во второй половине XIX столетия господствующие позиции во французской и английской историографии позитивистская методология продолжала удерживать их, по крайней мере, до начала Первой мировой войны²⁸.

Процесс формирования новых методологических концепций в русской исторической мысли пошел двумя основными путями. Стремясь показать своеобразие исторического познания и преимущественно ориентируясь на рациональные средства этого познания, историки в одном случае отказали своей науке в способности достижения объективной истины, в другом — отстраняли историю от обобщающей формы исследования.

Первый, релятивистский, вариант обоснования специфики исторического познания был предложен Р. Ю. Виппером в рамках течения эмпириокритицизма.

В 90-е годы XIX в. Виппер стоял на позициях классического позитивизма. Как отмечает исследователь его творчества Б. Г. Сафронов, в это время он — «бесспорный сторонник социальной истории, противник переоценки роли выдающихся деятелей и резких перемен в историческом движении — ратует за сходство принципов естественных и исторических наук», прямо выдвигает мысль о необходимости синтеза материализма и идеализма²⁹. По верной оценке Б. Г. Сафронова, первые выступления Виппера в духе эмпириокритицизма относятся к 1900 году, а полно и рельефно эмпириокритическая концепция оформляется у историка в его курсе лекций 1908—1909 гг. и опубликованной в 1911 году им работе «Очерки теории исторического познания»³⁰.

Виппер выступал с резкой критикой иррационалистического идеализма с его тягой к «вечному» и «абсолютному», с его попытками «оживления религии, реставрации богословия, идеализации религиозного чувства», с его призывами «к неисповедимым силам». Такой идеализм историк характеризовал как умственную реакцию, которая «бредет в тумане своих мнимых загадок... заграждает нашу научную работу», свидетельствует «о некотором утомлении мысли» и не случайно совпадает с реакцией общественной. По убеждению ученого, построения иррационалистического идеализма опровергаются историей науки и будут расстроены логико-гносеологической работой научной мысли³¹.

В противоположность иррационализму Виппер предлагал решить возникающие нравственные и научные проблемы на реальной, «земной» почве. Он писал: «Идеалы велики не тем, что вечны — это слово не вызывает у нас ответного биения сердца, — они велики тем, что человечны, тем, что отвечают человеческому достоинству нашему, человеку нашего времени. Все, чего мы хотим, мы можем сказать конкретным языком нашего времени»³².

Виппер признает и возможность познания исторической наукой закономерностей развития человеческого общества. Ученый замечает, что немыслимо вековое существование науки без выводов, без опоры на сходные или повторяющиеся группы отношений. «История, — пишет он, — всегда была в ранге науки, признававшей и наблюдавшей закономерность»³³. Как и

основоположники позитивистской философии, отечественный историк утверждает, что «общественные науки по своим приемам и задачам не стоят в резкой противоположности к наукам естественным»³⁴. Более того, Виппер вообще отождествляет историю с социологией: говоря о неотделимости постановки общих задач от работы над конкретным материалом, о том, что «нельзя провести границу в применении абстрактных идей и реальных описаний», «нельзя отметить раздельное применение двух разных методов, конкретного и абстрактного», он считает неверным контовское разграничение абстрактной социологии и конкретной истории³⁵. Подчеркивая правоту стремления позитивизма выдвинуть на передний план научного исследования описание процесса возникновения и развития явлений и приводя слова Маха о том, что «хорошее, меткое описание явления составляет лучшее научное понимание и оценку его», русский ученый полагает, что «в исторической науке такие описания приводят к установлению правильных соотношений: все более мы замечаем ряды повторений и совпадений, т. е. все более приходим к признанию того общего принципа, что социальные явления — не горы случайности, не арена волшебных скачков, а группы постоянных сцеплений, образующих механически повторяющиеся единства. Все ближе мы подходим и к установлению “законов” этих сцеплений...»³⁶.

Вместе с тем Виппер соглашается с возникшим в исторической мысли мнением, что вопрос о переосмыслении «понятия закона в применении к истории» действительно стоит на повестке дня, поскольку, с его точки зрения, «в пестрой массе переплетающихся конкретностей органической и общественной жизни, конечно, нет места для безошибочного принудительного действия простых правил, потому что ограничительные условия чрезвычайно велики и разнообразны»³⁷. При этом он признает и то, что «образец естествознания не может служить целиком для социологии»³⁸.

Отстаивая положение о принципиальном единстве способа и формы научного знания и одновременно пытаясь объяснить определенную специфику исторического исследования, Виппер обращает внимание на своеобразие субъектно-объектных отношений в сфере познания истории. «Ведь о жуках и гри-

бах, — пишет историк, — составляют науку посторонние им люди, а не сами объекты науки, тогда как в общественной науке изучаемый объект и изучающий субъект до известной степени совпадают, и она представляет собой именно то самое, что в определенное время и в определенной среде люди думают о людях и о своем собственном общечеловеческом прошлом»³⁹.

А такое отношение субъекта и объекта в историческом познании обуславливает, по Випперу, неизбежное воздействие современности на процесс исследования прошлого. Именно под влиянием современной жизни, с его точки зрения, в изученных до мельчайших тонкостей оборотах адвокатских речей Цицерона или театральных сценах Саллюстия в конце XIX века «начали читать яркие формулы борьбы классов, нашли материал для резких социальных характеристик, по ним стали вырисовывать очертания социального вопроса в конце эпохи римской республики», лишь недавно, отмечает историк, стали говорить в науке о факте «промышленной революции» в Англии конца XVIII в., хотя все составные части его были замечены раньше, и, напротив, ранее признаваемый в науке факт «влияния на Европу крестовых походов» теперь распался на явления «различных рядов и даже различных эпох»⁴⁰. Таким образом, Виппер приходит к выводам, что историческое творчество определяется воздействием «новых впечатлений, настроений и запросов, вызываемых жизнью того самого современного общества, которое желает иметь науку о себе и для себя»; в результате всех этих влияний история, по сути дела, является «автобиографией общества», которая с течением времени «не только добавляется новыми главами», но «постоянно и на всем своем протяжении перерабатывается с новых точек зрения»⁴¹.

Логика этих рассуждений приводит Виппера к заключению не только о релятивном, но и о субъективистском характере исторического познания. Возникающие под действием современности факты истории, по его мнению, безусловно, не являются прямым и простым отражением действительности, а образуются в процессе активной работы исследователя. «Сознание известного факта прошлого, — пишет Виппер, — есть результат прежде всего нашей способности, нашей привычки воспринимать впечатления в известной группировке, в известном сцеплении, связи. Представления наши о фактах зависят от тех

рамок, в которые мы вводим отрывочные данные традиции и остатков прошлого. “Факты” появляются и исчезают в различных исторических представлениях и картинах. Факты существуют для одного глаза и отсутствуют для другого»⁴². Таким образом, он утверждает, что все исторические «факты, группы и ряды составляют наши умственные разрезы, наши умственные опыты», а «то, что мы называем объективной действительностью, должно быть признано одной из субъективных категорий, и притом категорий изменчивых по своему содержанию», зависящих от потребностей, представлений о будущем, симпатий и «психических предрасположений» тех или иных «поколений, связанных общими идеями»⁴³.

Исходя из этого, Виппер определяет истину как «возможно точное приспособление доступных данных к возможно разнообразной постановке вопросов»⁴⁴. А под законами, вслед за Махом, отечественный историк понимает «ограничительные условия, которые мы вносим, руководствуясь возрастающим опытом, в наши ожидания и предвидения»⁴⁵.

Субъективистская трактовка Виппером кардинальных установок исторической науки способствовала в изменившихся социально-политических условиях дальнейшему пересмотру историком своих теоретических воззрений, в частности переосмыслению им теории прогресса.

Так, в прочитанном в 1913 году в кружке историков докладе Виппер утверждал, что основы теории прогресса подорваны и развитием самого научного знания, и общественными процессами. По его мнению, развитие этнологических и археологических исследований устранило грубое европоцентристское видение истории, показало, что технические достижения не привели к усовершенствованию в области искусства и художественного ремесла. А современная действительность, по словам историка, подтверждает, что «жить делается труднее, а человек становится все слабее силами», что угрожающе дорожают «необходимые условия жизни», что совершенствование производства не служит благу человеческой личности, а в результате роста изобретений растет и опустошение человеческого существования, наступает конец какому-нибудь умению, мастерству, устраняется «необходимость в известном таланте», сокращается та или другая область фантазии, создаются пустые места в дея-

тельности человеческого интеллекта⁴⁶. В качестве общественно-го явления, подорвавшего веру в прогресс социальных отношений, Виппер специально указывает на революцию 1905 года, после которой поднялись злобные чувства, возникло взаимное ожесточение, «различные группы интеллигенции безнадежно перессорились между собою», и «прежняя литературная республика старого режима... в сравнении с позднейшей послереволюционной борьбой... бесконечно выигрывает... кажется недостижимым идеалом»⁴⁷.

Анализ результатов научных исследований и современной общественной практики приводит Виппера к выводам, по существу противоположным теории прогресса. Он отмечает, что если и можно говорить о прогрессе, то только в отношении «к человеческой обстановке», а «человеческая порода» «не делается богаче, ни разнообразнее, ни тоньше по своей организации, ни возвышаннее», что сомнительна постановка вопроса о нравственном совершенствовании человечества, а «старинное человечество... было в себе цельнее, соответственно богаче одарено, по-видимому, и физически крепче, чем современное культурное»⁴⁸. И в области социальных форм и теорий, по его убеждению, «не видно никакой эволюции. Сменяются время от времени господа положения. Но всякий раз победитель, свалив предшественника, усердно копирует его незаменимую организацию. Государство остается чудовищем Левиафаном, все забирающим и ничего не отдающим. Оно крепко держится за учение о божественной власти, которая бросает свой отблеск на последнего чиновника и выражается в торжестве администрации над всяким общечеловеческим или “естественным” правом...» «В истории государства, — подытоживает Виппер, — за большой период времени мы не видим ни прогресса личности, ни прогресса общежития»⁴⁹. Историк констатирует, что составляющая «чуть ли не главный догмат XX века» теория прогресса потерпела крушение, что «надо признать, что теория, еще недавно занимавшая в науке господствующее положение, кончилась, выветрилась из умов»⁵⁰.

По наблюдению Б. Г. Сафронова, в 1913 году происходят перемены и в конкретно-историографической практике Виппера: с опубликованной в этом году книги «Древний Восток и

Эгейская культура» начинается его поворот к «истории событий» с акцентом на решающую роль исторических героев⁵¹.

Вместе с тем Р. Ю. Виппер был, пожалуй, единственным представителем дооктябрьской исторической мысли России, кто в развернутом виде в своих работах попытался обосновать релятивистскую методологическую концепцию. Русские ученые в это время не разделяли такую трактовку природы исторической науки, которая исключала ее причастность к общенаучной цели познания — стремлению постичь объективную истину. При этом, правомерно связав своеобразие исторического познания со спецификой субъектно-объектных отношений и активностью субъекта в историческом исследовании, Виппер в рамках платформы эмпириокритицизма и позитивистских традиций был ограничен в своем обосновании такого своеобразия.

Больше отечественных историков после 1905 года привлек другой вариант обоснования специфики исторического познания, сформулированный в неокантианской философии. Однако вопросы о сущности неокантианства и критериях отнесения к нему того или иного историка требуют специального рассмотрения, поскольку ученые расходятся в том, кого и с какого времени следует причислять к неокантианцам.

В историографической литературе не достигнуто единых позиций даже в вопросе о времени восприятия неокантианских идей такими историками, как А. С. Лаппо-Данилевский и Д. М. Петрушевский, сама принадлежность которых к неокантианскому течению в процессе развития их теоретико-методологических воззрений ни у кого не вызывает сомнения. Если Л. Н. Хмылев полагает, что Лаппо-Данилевский принял неокантианские установки после 1905 года⁵², то О. В. Сеницын считает, что он стал неокантианцем уже на рубеже XIX—XX вв.⁵³, если О. Л. Вайнштейн утверждал, что переход Петрушевского на неокантианские позиции совершился только после 1917 года⁵⁴, то ряд других историков причисляет его к неокантианцам уже со времени Первой русской революции⁵⁵. В оценке же методологической ориентации таких историков дореволюционной России, как Н. И. Кареев, В. М. Хвостов и М. М. Хвостов, точки зрения ученых и вовсе не сходятся: одни относят

этих историков либо к неокантианцам, либо к разделяющим принципиальные идеи неокантианской теории ⁵⁶, другие характеризуют их воззрения как позитивистские ⁵⁷. Но очевидно, что без четкого определения круга историков, входящих в неокантианское течение на том или ином этапе развития исторической мысли, нельзя начинать обсуждение вопроса о месте этого течения в историографии дооктябрьской России.

При определении того, к какому методологическому течению принадлежит тот или другой историк, прежде всего встает вопрос о критериях выделения того или иного течения. В этом отношении Г. В. Тевсадзе правомерно характеризует неокантианство как «философское течение, которое принимает теорию познания Канта, но отрицает значение понятия вещи в себе в теории познания, сохраняя его только в качестве пограничного понятия в смысле несуществующей, но необходимой конечной цели познания»⁵⁸. Вместе с тем понимание неокантианства как специфического методологического течения исторической мысли требует конкретизации.

В противопоставление позитивистской философии, по сути дела, игнорировавшей реальное своеобразие исторического исследования, основоположниками ориентированной на решение проблем методологии истории баденской школы неокантианства В. Виндельбандом и Г. Риккертом была предпринята попытка обосновать специфику исторической науки. При этом они отвергли как ненаучную иррационалистическую трактовку такой специфики, предложенную В. Дильтеем в рамках концепции «философии жизни». Виндельбанд и Риккерт возрождали формально-логический субъективизм И. Канта и его идею о коренном различии между науками по их методу. С их точки зрения, различие целей двух областей научного познания обуславливает то, что методом естествоведения, или «наук о природе», является номотетический метод, а методом истории, входящей в состав «наук о культуре», — метод идиографический. И если посредством номотетического метода исследуются закономерные связи и отношения, то идиографический метод направлен на изучение индивидуальных событий и процессов и реализуется в конкретно-историографической практике в виде «метода отнесения к ценности». Теоретики неокантианства считали, что ценностное отношение позволяет историку выбрать

существенные факты прошлого и, вместе с этим, предохраняет его от произвола в историческом исследовании, поскольку противостоит оценочному подходу и основано на вечных трансцендентных ценностях. Обоснование значимости таких ценностей отдавалось в неокантианских построениях в ведение абстрактной философии истории, а исторической науке отводилась роль простого регистратора связи своих фактов с ценностями⁵⁹.

Очевидно, что, в отличие от концепции эмпириокритицизма, своими методологическими построениями неокантианцы всемерно пытались преодолеть релятивизм в историческом исследовании. Вместе с тем неокантианские идеи открыто противопоставляли области научного знания, были направлены на отрицание взаимосвязи истории и теории, на элиминацию понятия закона из исторического исследования и, таким образом, на отстранение истории от традиционной формы научного знания.

В дальнейшем своем развитии неокантианское течение в исторической мысли могло видоизменяться. Но сущность этого течения оставалась прежней. Она заключалась в противопоставлении истории и естествознания по характеру применяемых ими методов и трактовке рационалистического идиографического метода как базового способа исторического исследования. Такая конкретизация сущности неокантианского методологического течения, как представляется, и дает возможность судить о принадлежности к нему того или иного историка.

С этих позиций неправомерно причислять к неокантианцам Н. И. Кареева, основываясь на отождествлении его «этического отношения» к истории с неокантианским методом отнесения к ценности⁶⁰. Общим в понимании Кареевым и неокантианством ценностного подхода являлась лишь апелляция к общечеловеческим нормам. Во-первых, под «этическим отношением» Кареев подразумевал не способ отбора существенного в истории, а лишь этическую оценку прошлого, необходимость и неизбежность которой, в отличие от основоположников баденской школы, он признавал⁶¹. Во-вторых, «этическое отношение» не являлось у Кареева основным методом исторической науки и не использовалось им для противопоставления естественных и общественных наук. Оно только дополняло в обществоведении, занимающемся человеческими делами, единый общенаучный метод познания, который Кареев называл «отно-

шением теоретическим»⁶². И в-третьих, наряду с одобрительными высказываниями о поисках немецких неокантианцев в области теории ценностей в историческом познании, Кареев не без оснований опасался субъективизма, к которому ведет эта теория, и отмечал, что «наше «этическое отношение» есть нечто иное, нежели риккертовское «отнесение к ценности», поскольку последнее помогает отделять существенное от несущественного»⁶³. Еще А. К. Дживелегов справедливо заметил: «Субъективизм Н. И. Кареева всецело обосновывается средствами позитивизма... Метод исторической науки объективен. Субъективно только наше отношение к установленным уже научным исследованием историческим фактам»⁶⁴.

Точно так же не был неокантианцем М. М. Хвостов, тем более «ведущим представителем» неокантианского течения в русской историографии⁶⁵. Для демонстрации неокантианства Хвостова Л. Н. Хмылев привлекает к анализу его рассуждения, показывающие психическое понимание Хвостовым природы общественных явлений, отрицание им индивидуальной причинности и увязывание истолкования причинной связи с введением в это истолкование некоторого общего элемента, его враждебность субъективизму и трактовку истины как верифицируемого знания, признание приблизительного характера обобщений в исторической науке и различие социологии и конкретной истории⁶⁶. Но все эти рассуждения вполне вписываются в общее русло эволюции позитивистской методологии истории. Л. Н. Хмылев вообще привлекает взгляды Хвостова для характеристики особенностей неокантианского течения в отечественной исторической науке. Но именно в этих «особенностях» и растворяется его принадлежность к неокантианству. Хвостов признавал коренное единство общенаучного метода и отвергал на этом основании неокантианскую идею о противоположности исторической науки и естествознания. «Хотя история занимается изучением конкретной действительности, т. е. исследованием индивидуальных фактов в их причинной зависимости, — писал он, — но при толковании этой причинной зависимости она обращается к общим суждениям и таким образом исчезает принципиальное различие между историей человечества и конкретными естественными науками»⁶⁷.

Представляется несомненным и то, что в дооктябрьский период на позитивистской платформе стоял Д. М. Петрушевский. Даже в работах 1915—1917 годов⁶⁸ крупный историк-медиевист рассматривал изучение исторической наукой индивидуального лишь как один из аспектов общенаучного исследования конкретной действительности наряду с изучением общего. По мнению ученого, познание общего является первоосновой всякого научного исследования, поскольку невозможно понять индивидуальные и конкретные факты, не уяснив предварительно «постоянные, вечные отношения между явлениями, индивидуальную комбинацию которых мы хотим понять»⁶⁹. Петрушевский приходит к выводу, принципиально отличающемуся от положений немецких неокантианцев. Он пишет: «Историческая наука ничем не отличается по своему логическому существу, по своему логическому стилю от всякой другой науки»⁷⁰.

Напротив, воззрения историка римского права В. М. Хвостова следует признать неокантианскими в своей основе. По-неокантиански В.М. Хвостов решает основной вопрос философии. «...Вещи в себе, — пишет он, — оказываются трансцендентными сознанию только в том отношении, что они не даны в той его части, которая именуется опытом. Но они с необходимостью даны в мышлении. Обойтись без их примышления мы не можем. В то же время в опыте не содержится решительно никаких данных для того, чтобы отвергнуть это необходимое примышление. Напротив, если мы его отвергнем, то мы впадем в весьма странное и сопряженное с массой логических затруднений состояние, именуемое солипсизмом... и вступаем в противоречие с голосом нашего нравственного сознания»⁷¹. При всем своем несогласии с Риккертом Хвостов солидаризируется с существенными постулатами его концепции. Русский теоретик также противопоставляет историческую науку наукам естественным. Он выступает против тех, кто не подчеркивает «с достаточной силой разницы между знанием об общем и знанием об индивидуальном», кто старается превратить историю в науку об общем. Руководящим методом исторического исследования Хвостов также считает метод отнесения к ценностям⁷².

Таким образом, в дооктябрьский период развития отечественной исторической мысли среди профессиональных историков, выразивших в развернутом виде свои теоретические взгля-

ды, неокантианцами можно назвать А. С. Лаппо-Данилевского, В. М. Хвостова и Н. М. Бубнова. Неокантианская основа воззрений последнего не вызывала сомнений у историографов, возможно, и потому, что его методологическая концепция ими по существу не анализировалась.

Видный источниковед, историк античности и средневековья, декан историко-филологического факультета Киевского университета Н. М. Бубнов⁷³, как и немецкие теоретики неокантианства, полагал, что разные цели естествознания и истории обуславливают различие применяемых ими методов. Такое различие, с его точки зрения, подкрепляется и своеобразием исследуемого различными науками материала⁷⁴. При этом, как и немецкие мыслители, русский методолог констатировал направленность естественно-научного метода на изучение общего и повторяющегося, а метода истории — на описание однократного и индивидуального, отрицая применимость в исторической науке понятия закона. Бубнов говорил: «Науки естественные имеют дело с развитием, повторяющимся бесчисленное множество раз. В истории же циклы развития единичны; они не повторяются, не возвращаются никогда. Правда, во всех государствах мы замечаем аналогичные явления: все они зарождаются, живут и умирают, подобно физическим организмам. Но тем не менее в истории каждого народа есть то, чего нет в истории других народов. Каждый фазис исторического развития есть “unicum”, которого ни заменить, ни повторить нельзя. Вот в этой-то особенности исторических явлений и коренится отличие истории от всех других наук. Говорят о так называемых “законах” истории. Но таких законов нет»⁷⁵.

Поскольку сам исторический материал препятствует выведению законов, то, по мнению Бубнова, их установление не может являться идеалом любой науки и, «следовательно, если историк не выводит законов, то, значит, это является совершенно невозможным, ибо в противном случае историки стремились бы к этому»⁷⁶. В то же время, с точки зрения ученого, история ставит вопрос о ценности изучаемого ею материала⁷⁷.

При этом окончательный переход всех трех отечественных историков на позиции неокантианства совершился после 1905 года. Теоретические работы Бубнова и Хвостова, позволяющие достаточно однозначно определить методологическую

платформу ученых, появились после Первой русской революции. Вплоть до середины 900-х годов будущий лидер неокантианского течения в историографии России А. С. Лаппо-Данилевский и в своей критике философии позитивизма, и в своих позитивных методологических идеях сохранял верность основополагающим принципам позитивистской теории исторического исследования. Так, в одной из своих работ, появившихся в 1902 году, ученый придавал первостепенное значение общим понятиям для уяснения процесса исторического развития⁷⁸. В духе традиций русского позитивизма решался им и вопрос об оценке в истории. Лаппо-Данилевский признавал необходимость нравственной оценки явлений прошлого, но выступал за «резкое разграничение» научного подхода к историческим фактам и этического отношения к ним⁷⁹.

Вместе с тем, несмотря на немногочисленность теоретиков неокантианства среди профессиональных историков России, именно неокантианское течение заняло после 1905 года ведущие позиции в отечественной исторической мысли.

Неокантианские идеи проникали в общественную мысль России еще до Первой русской революции. В конце XIX века некоторые элементы неокантианской теории пытались использовать в своих идейно-теоретических построениях «легальные марксисты»⁸⁰. Позднее С. Л. Франк говорил даже о приоритете отечественных мыслителей в этом использовании неокантианства для «критического реформирования» марксизма. «Вопрос об отношении между неокантианством и марксизмом, — отмечал он, — в России не нов; в некотором смысле он прямо исходил из России. По крайней мере впервые о нем заговорил П. Б. Струве во вступительных главах своих «Критических замечаний» (1894 г.), и он первый среди марксистов призывал «обновить» философскую основу марксизма путем замены материализма кантовским критицизмом»⁸¹. На рубеже XIX—XX вв. некоторым неокантианским идеям и методологическим исканиям начинают симпатизировать и русские историки, в том числе такие крупные представители исторической науки, как В. О. Ключевский и Д. М. Петрушевский⁸². Но эти симпатии до определенного времени отнюдь не означали перехода ученых на платформу неокантианства. До середины 900-х годов неокантианские идеи еще не определяли развитие историографии Рос-

сии, а собственно неокантианцами до этого времени были лишь немногие университетские профессора — философы и логики — А. И. Введенский, И. И. Лапшин, Г. И. Чалпанов⁸³.

После 1905 года неокантианские идеи глубоко проникают в отечественную историческую науку. Именно после революции появляются специальные крупные методологические работы, написанные с позиций неокантианства профессиональными историками: в 1909 году выходит первое издание книги В. М. Хвостова «Теория исторического процесса», в 1911 году — «Пособие по методологии истории» Н. М. Бубнова, а в 1910—1913 годах — два выпуска «Методологии истории» А. С. Лаппо-Данилевского. С середины 900-х годов баденский теоретик Г. Риккерт делается самым модным методологом в России. Практически все его значимые произведения переводятся на русский язык и издаются в нашей стране, притом почти одновременно с немецкими оригиналами⁸⁴. После 1905 года именно неокантианцами читались курсы лекций по методологии истории в крупнейших университетах страны: Лаппо-Данилевским — в Петербургском, В. М. Хвостовым — в Московском, Н. М. Бубновым — в Киевском.

Впрочем, после Первой русской революции изменяется отношение к неокантианству не только у историков, но и у более широкого круга отечественных обществоведов. Показательна в этом отношении перемена позиций бывшего лидера «легальных марксистов» П. Б. Струве. Если в конце XIX в. Струве рассматривал неокантианство лишь как средство обновления марксизма, то после революции он признал самоценность неокантианских методологических положений и принял точку зрения Риккерта⁸⁵.

Такое изменение отношения к неокантианству части обществоведов в России после 1905 года своеобразно отметил В. И. Ленин. Делая из оценки этого изменения политические и идеологические выводы, в 1914 году В. И. Ленин писал: «В наше время... заслужить репутацию солидного ученого и получить официальное признание своих трудов, — это значит доказать невозможность социализма посредством парочки “по-кантиански” выведенных определений; это значит уничтожить марксизм, разъяснив читателям и слушателям, что его не стоит даже оп-

ровергать, и сославшись на тысячи имен и названий книг европейских профессоров; это значит выкинуть за борт вообще всякие научные законы для очистки места законам религиозным»⁸⁶.

Неокантианское учение, сконцентрировавшее свое внимание преимущественно на вопросах логики и гносеологии, конечно, не могло оказать такое всеохватывающее воздействие на интеллектуальную жизнь России, какое оказали гегельянство и марксизм. Однако при всем том влияние неокантианства на отечественную историческую мысль с середины 900-х годов было достаточно сильным.

Прежде всего, воздействие неокантианства на русскую историографию ощущалось в сфере методологических идей. В период между 1905 и 1917 годами отечественные историки, даже не согласные с основными положениями неокантианской концепции, отталкивались от них в своих теоретико-методологических поисках. Без преувеличения можно сказать, что в это время идеи неокантианства задавали тон всем методологическим дискуссиям в исторической мысли России. Один из русских неокантианцев верно замечал, что в России в области исторического познания, «бесспорно... школе Виндельбанда — Риккерта принадлежит наиболее выдающееся место и, можно сказать, она является центром, вокруг которого преимущественно вращается современная критика как со стороны родственных ей, так и враждебных течений»⁸⁷. У достаточно широкого круга отечественных историков, непосредственно не принадлежащих к сторонникам неокантианского учения, находили свой отклик и фундаментальные методологические положения этого учения.

Наиболее глубоко в их среду проникла неокантианская идея, связанная с отрицанием за исторической наукой права на изучение законов истории. Так, Е. Н. Щепкин в 1905 году констатировал, что цель научной исторической интерпретации — «не искажение исторических законов и следов их влияния», а только выяснение более или менее сложной причинной связи, имеющей значение «только для специального отношения между двумя событиями, изучаемыми в данную минуту»⁸⁸. В. К. Пискорский, говоря об огромном значении в истории случайного элемента и не поддающегося учету влияния человеческой роли, делал вывод о том, что задачей исторического изучения не может служить открытие исторических законов⁸⁹. А. Д. И. Багалея, рассмат-

ривая историю как процесс, состоящий из последовательной смены однократных индивидуальных явлений, приходил к заключению, что «исторические законы — это химера»⁹⁰. В 1909 году один из критиков Риккерта отмечал, что вопрос об исторических законах «особенно привлек к себе внимание и симпатии русских читателей Риккерта. Даже несогласные с его общими положениями... выражают в данном случае ему свое сочувствие»⁹¹.

Многие историки под воздействием неокантианской теории в той или иной степени приняли и положение о функционировании в историческом исследовании категории ценности. Р. Ю. Виппер, В. Н. Перцев, М. М. Хвостов признавали участие ценностного подхода в сфере изучения, в отборе фактов прошлого, в группировке исторического выбора тем для исторического материала⁹². Полагая, что еще до начала своей работы историк всегда имеет ее предварительные цели, заранее сформулированные вопросы и даже возможные на них ответы, Перцев видел значение теории ценностей Риккерта в том, что немецкий мыслитель попытался решить проблему: «под влиянием каких моментов возникают в нашей голове» вопросы и ответы, предваряющие историческое исследование? По мнению Перцева, теория ценностей «дает на это ответ, быть может, и не единственный из возможных, быть может, нуждающийся в дополнениях и исправлениях, но все-таки ответ»⁹³. Еще в начале 900-х годов высоко оценивали аксиологический аспект неокантианского учения и некоторые философы, в целом не принимавшие методологии Риккерта. Так, именно в теории ценностей усматривал главное достоинство риккертовской концепции позитивист М. Филиппов⁹⁴. Н. Бердяев видел важнейшую заслугу Виндельбанда и Риккерта в установлении абсолютных ценностей⁹⁵.

Таким образом, противопоставив авторитету Конта авторитет освобожденной от материалистических элементов кантовской философии, неокантианство содействовало трансформации иных течений философской и исторической мысли, прежде всего позитивистской методологии.

После 1905 года идеи баденской школы оказывают влияние не только на профессиональных историков, обществоведов и философов России. Эти идеи становятся популярными у сту-

денчества⁹⁶. Они проникают даже в средние учебные заведения и начинают там пропагандироваться. Так, Б. А. Влахопулов в учебном пособии для 8-го класса женских гимназий писал, что направление Риккерта в сопоставлении с материализмом более подходит к миросозерцанию большинства современных историков»⁹⁷.

Именно с утверждением ведущих позиций неокантианства в отечественной историографии возникает кризис в исторической мысли России, поскольку именно в рамках неокантианского течения совершилась коренная ломка представлений о характере или форме исторического познания, на которых базировалась русская историческая наука в предшествующий период своего развития.

Утверждению ведущих позиций неокантианства в российской историографии способствовало стремление неокантианцев рационалистически осмыслить специфику исторического исследования, органически соединить методологические построения с системой исторического знания, превращение неокантианцами методологии истории в самостоятельную специальную научную дисциплину. При этом, противопоставляя себя философии позитивизма, неокантианская методологическая концепция находила с ней некоторые точки соприкосновения. Так, принципиально расходясь с позитивизмом в трактовке конечной ориентации познания истории, методология неокантианства, в определенном отношении, абсолютизировала основанную на фактографизме практику конкретно-исторических исследований, которую позитивисты рассматривали как подготовительную стадию развития исторического знания. К тому же неокантианская теория была близка некоторым идеям русской позитивистской социологии конца XIX века. Например, сторонник неокантианства М. Рубинштейн увидел в аксиологическом учении Риккерта осуществление мечты Н. К. Михайловского «найти такую точку зрения, с которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую поправляя»⁹⁸.

Определенную часть отечественной интеллигенции привлекали также утверждаемые в неокантианском учении идеи о существовании вечных общечеловеческих идеалов и норм, о самоценности человеческой личности. Н. А. Рожков, говоря о

причинах распространения в начале XX века новых форм идеализма среди «массы русского образованного общества», верно заметил, что они привлекают провозглашением «автономии и права личности как абсолютно нравственного начала, необходимого и неизменного для всех времен и народов: ведь моральный абсолютизм так свойственен обыденному мышлению, что это последнее не обинюясь примыкает к философскому учению, оправдывающему этот абсолютизм»⁹⁹.

Вместе с тем, как правомерно отмечает несколько в иной связи А. А. Ермичев, «интерес к Абсолюту, проявленный либералами, определился провалом их претензий на руководство обществом»¹⁰⁰. Отечественный либерализм, напуганный социальными потрясениями в ходе Первой русской революции, привлекала содержащаяся в неокантианстве попытка обоснования и защиты традиционных ценностей и норм. Неокантианское учение с его отрицанием исторических законов, принципа партийности в историческом исследовании непосредственно отвечало и задачам борьбы с марксизмом. И то обстоятельство, что подавляющая часть русских неокантианцев после 1905 года с определенными оговорками и дополнениями объединялась вокруг идей баденской школы — идеи марбургской школы защищали в России лишь немногие философы, в частности В. Савальский¹⁰¹, — в известной мере объясняется и различием в отношении этих школ неокантианства к марксизму. Если представители марбургской школы (Коген, Наторп, Форландер), как отмечал Б. А. Чагин, заявляли о необходимости «дополнить» марксистскую теорию этикой Канта, то основатели баденской школы (Виндельбанд, Риккерт) открыто противостояли марксизму¹⁰².

Отечественные историки-неокантианцы резко критиковали марксизм, показывая его как противоречивую, ненаучную, вульгарную теорию¹⁰³. И вообще, утверждению ведущих позиций неокантианства в российской исторической науке после 1905 года сопутствовало изменение отношения к марксизму многих ее представителей. Понимая под марксизмом «экономический материализм» и материалистический метод познания, отечественная историография до революции 1905 года преимущественно высоко оценивала научную значимость теории Маркса. Она признавала значительное влияние марксизма на истори-

ческую науку и связывала с этим влиянием поворот в исторической науке в сторону изучения материальной стороны общественной жизни. После Первой русской революции сочувственное отношение к марксизму сменяется его резкой критикой, распространившейся на отношение российской историографии к марксистскому методу исторического познания. Эта критика марксистского метода и осуществлялась в плане отрицания объективных законов общественного развития, марксистской трактовки истины в исторической науке¹⁰⁴. При этом роль неокантианских идей в борьбе как с позитивизмом, так и с марксизмом отмечали даже не разделявшие их обществоведы и философы России. Так, в знаменитом сборнике «Вехи» Н. А. Бердяев писал: «Неокантианский... дух стал для нас орудием освобождения от марксизма и позитивизма и способом выражения назревших идеалистических настроений»¹⁰⁵.

Факт перемены отношения отечественных либералов к марксизму с началом Первой русской революции констатировал В. И. Ленин, акцентируя свое внимание на классово-политической основе такой перемены. Если до этого времени, по его оценке, «уничтожением Маркса в России занимались “только крайние правые” представители официальной науки, а “вся либерально-народническая профессорская наука относилась к Марксу с почтением”», то после революции ситуация изменяется. «До 1905 года, — писал он, — буржуазия не видела другого врага, кроме крепостников и “бюрократов”; поэтому и к теории европейского пролетариата она старалась относиться сочувственно, старалась не видеть “врагов слева”. После 1905 года нарождается в России контрреволюционная либеральная буржуазия, и профессорская либеральная наука, нисколько не теряя престижа в “обществе”, принимается всерьез уничтожать Маркса»¹⁰⁶.

Отечественные неокантианцы старались предотвратить разрушительные последствия классовых столкновений в обществе. Так, В. М. Хвостов призывал к объединению людей «без различия партий, направлений, национальностей в деле установления культурных ценностей»¹⁰⁷. Вместе с тем этими рассуждениями могло оправдываться и сохранение изживших себя ценностей и институтов. Тот же Хвостов стремился обосновать историческую бессмысленность всякой социальной революции. Он доказывал, что никакая революция не может затронуть корен-

ных общественных условий, но меняет социальный строй лишь внешне, считая в разгаре страстей как действительно устаревшие, так и жизнеспособные его формы. Такое течение революции, по мнению историка, неизбежно порождает реакцию, «сила которой обычно оказывается прямо пропорциональной страстности революции»¹⁰⁸.

Боязнь революции в известной мере обуславливает отрицание Хвостовым всякого прогрессивного начала в деятельности народных масс и недооценку им революционных движений прошлого. Он преувеличивает роль выдающихся личностей, которые, с его точки зрения, одни только и «вносят» в историю все новое, умаляет историческое значение Великой французской революции, «разыгравшейся», по мнению Хвостова, «без великих людей»¹⁰⁹.

Однако, если изменение идейно-политических позиций русской историографии с утверждением в ней ведущей роли неокантианства не вызывает сомнений, то вопрос о воздействии неокантианской методологии на конкретно-историческую практику как ее сторонников, так и противников не так очевиден и требует тщательного и тонкого специального анализа. Возможно, заметно повлиять на исследовательскую практику отечественных историков этой методологии не позволил ее сходный с позитивизмом эмпирический настрой, возможно, короткий промежуток времени между 1905 и 1917 годами.

Вместе с тем утверждение ведущих позиций неокантианского течения в исторической мысли России отнюдь не означало отсутствия сопротивления неокантианству со стороны значительной части русских историков, обществоведов, философов. Более того, это сопротивление способствовало известному развитию отечественными историками-неокантианцами положений баденской школы.

§ 2. Борьба с неокантианством в русской историографии и особенности неокантианского течения в отечественной исторической мысли

Дифференциация позиций отечественных историков и критика ими неокантианской концепции были обусловлены

своеобразием предшествующего развития русской исторической и философской мысли, спецификой социально-политической обстановки в России 1905—1917 годов, определенной противоречивостью самого неокантианского учения и известным несоответствием его методологических установок практике конкретно-исторических исследований. Направленность неокантианства на выведение истории за рамки формы общенаучного знания, на исключение из арсенала исторической науки методов, применяемых в естествоведении, на противопоставление истории и теории не охватывала исследовательскую практику отечественной историографии, достигшей к концу XIX века довольно высокого научного уровня, связанного преимущественно с успехами в изучении социально-экономической истории в русле течения позитивизма. При этом рационалистическая трактовка предлагаемого неокантианцами способа постижения прошлого вступала в противоречие с истолкованием ими ценностей, на которых базировался такой способ, как категорий трансцендентных по своей природе. Вместе с тем нарастание революционной борьбы в России, с одной стороны, породило у части историков серьезные сомнения в возможности рационального обоснования общезначимых идеалов и норм, с другой — определило их стремление занять более активную позицию в этом обосновании.

Обострение борьбы методологических течений в русской исторической мысли также свидетельствовало о начавшемся кризисе. При этом такая борьба развертывалась на фоне широкой критики неокантианской концепции отечественной социальной и философской мыслью, которая не могла не оказать известного воздействия на российских историков.

Теоретики марксизма и близкие к ним по своим идейно-политическим позициям обществоведы говорили о классовой реакционности неокантианства, его связи с религией, антинаучном характере, эклектизме, отмечали более последовательное, по сравнению с И. Кантом, проведение в нем идеализма, несостоятельность неокантианской критики исторического материализма¹¹⁰. Г. В. Плеханов убедительно показывал неоправданность противопоставления Риккертом естествознания и истории¹¹¹. М. Н. Покровский верно подметил связь концепции Риккерта с традициями немецкой историографии¹¹². Но подчиненность марксистской критики неокантианства задачам идей-

но-политической борьбы, недостаточное внимание марксистов к основному логико-гносеологическому содержанию концепции теоретиков баденской школы снижали действенность такой критики. Практически не реагировали на марксистскую критику неокантианского учения его сторонники в России. По существу, в единственном ответном выступлении русского неокантианца М. Рубинштейна по поводу критики Риккерта М. Н. Покровским указывалось на ее односторонность и плохое понимание им неокантианской теории познания¹¹³.

В своей критике неокантианства отечественные немарксистские историки после революции 1905 года начали находить точки соприкосновения с русской религиозной философией. Особенно же созвучны в такой критике они были по отношению к учению баденской школы течения позитивизма.

Отношение отечественной религиозной философии к неокантианской теории в предоктябрьский период наиболее рельефно выразил Н. А. Бердяев.

Еще до Первой русской революции Бердяев, признавая «талант», «остроумие» неокантианцев, особенно Риккерта, связывал их заслуги не с попыткой рационалистически осмыслить своеобразие исторического познания, а, напротив, с тем, что они «допустили иррациональность всего индивидуального, всей живой действительности»¹¹⁴. Однако русский мыслитель отмечал при этом, что Виндельбанд и Риккерт вводят иррациональное «с задних дверей»¹¹⁵, указывал на противоречивость их построений¹¹⁶. Отечественный философ характеризовал неокантианство как «суррогат», «подмену» религии, как религию, заменяющую «живого Спасителя мертвым категорическим императивом»¹¹⁷.

Бердяев считал неокантианское учение неудовлетворительным и в гносеологическом и в социально-нравственном отношении. С его точки зрения, неокантианцы, объявляя реальность фикцией и оставаясь в пределах категорий и понятий, по существу, способствуют торжеству иллюзионизма и «приходят в конце концов к закреплению позитивизма»¹¹⁸. Согласно мыслителю, рационализм вообще «не может решить проблемы отношения мышления к бытию и не в состоянии построить такой гносеологической теории, при которой открылись бы двери для познания бытия, реального, сущего»¹¹⁹. Не имея же «бытийственной опоры», по заключению русского теоретика, неокантиан-

цы оказываются неспособными решить вопрос об основах не только истины, но и добра ¹²⁰. Рецензируя вышедшую в России в 1904 году книгу Виндельбанда «Прелюдии», Бердяев оценивал рассуждения немецкого мыслителя о морали как «недостойные философа», поскольку «они в существе своем сводятся к учению о повиновении... нравам данного божества», а его мораль — «это обыденная буржуазная мораль, мораль мещанских нравов, очень недоброкачественная и с точки зрения социально-политической, так как она служит силам консервирующим, враждебным свободе»¹²¹.

В результате своего анализа неокантианских теоретико-методологических построений Бердяев приходил к выводам, что «идеализм не оправдал возлагавшихся на него надежд, он не соединил нас с глубиной бытия, а разобщил окончательно», что «последние плоды критической философии приводят к кризису рационализма», к кризису всей европейской философии»¹²². Для преодоления же этого кризиса, противоречивости неокантианского рационализма, познания реального бытия отечественный мыслитель предлагал «порвать с кантианской теорией познания», перейти на позиции «чувственно-мистического», конкретного мировоззрения, обратиться к «санкции высшей, чем моральная, санкции религиозной...». «Вверх от морали, — писал он, — есть только путь к религии»¹²³.

После 1905 года, когда завершился переход Бердяева, по его собственным словам, «от идеалистических отвлеченностей к мистическим реальностям»¹²⁴, критика философом неокантианства становится более резкой и даже язвительной. Признавая широкое распространение неокантианских идей в современной теоретической мысли, он объявляет господство гносеологии «болезненной рефлексией», состоянием неуверенности в себе и скепсиса ¹²⁵. А аксиологическое учение неокантианства, заменившее, как полагает мыслитель, Живого Бога богом норм и ценностей — «это кошмар, кошмар, дурной, поистине дурной, бесконечности»¹²⁶. Раскрывая внутреннюю противоречивость теории ценностей баденской школы и базирующейся на ней теории познания, Бердяев замечал, что в этой философии ценностей «гносеология оказывается невозможной с точки зрения гносеологии же»: никакой гносеологии и никакого учения о ценностях не может быть «вне суждения», а по логике Риккер-

та, «ценность должна предшествовать суждению, не зависеть от суждения, а определять его»¹²⁷. Отечественный теоретик характеризовал неокантианство как течение, которое «явно носит печать эпигонства и упадочности», окончательно упраздняет бытие и отрицает вековечную цель знания, «превращается в паразита на древе познания»¹²⁸.

Основываясь на таких рассуждениях, Бердяев указывал, что в известном отношении неокантианство уступает позитивистской методологии. «Виндельбанд и Риккерт, — писал он, — остроумно пробовали свести всю гносеологию к долженствованию, к ценности и этим привели ее к абсурду... В такой этической гносеологии нет никаких признаков объективной научности. Для этой гносеологии знание в конце концов сводится к вере, к свободе выбора, к этике воли. Тут я готов вступить за объективную науку. Научное знание включает в себе объективную и неустранимую принудительность; науку нельзя этизировать, нельзя превращать ее в постулаты долженствования. Обыкновенные позитивисты правильнее смотрят на науку, чем Виндельбанд и Риккерт». «В позитивной науке, — заявляет философ, — должен быть утвержден позитивизм, а не идеализм»¹²⁹.

Поскольку науку историю, имеющую дело исключительно с индивидуальным, нельзя построить по образцу естествознания, то научная теория истории, по убеждению Бердяева, оказывается невозможной, а возможно лишь религиозное понимание истории «уже потому, что религиозное восприятие всегда индивидуально и что религиозный смысл истории исходит из индивидуального, неповторимого факта — Христа»¹³⁰.

Отечественные позитивисты также усматривали недостаток неокантианской теории в отсутствии ее связи с жизнью. Так, П. П. Перцов, признавая несомненное внимание в России к философским взглядам Риккерта, вместе с тем считал, что это внимание не выйдет за пределы профессиональных кругов, а взгляды немецкого мыслителя никогда не достигнут в русском обществе популярности философии Гегеля, позитивизма и марксизма, поскольку в них «отсутствует одна черта прежних течений, общая им всем, при всем различии, и преимущественно привлекающая к ним симпатии русского читателя». «Черта эта, — писал отечественный ученый, — ...то или иное учение о “сущности вещей” и вытекающее отсюда известное практическое на-

строение»¹³¹. М. Б. Ратнер также полагал, что для построения социальных идеалов недостаточно идеи должного, и надо «идти не вверх», к Канту, а «вниз — к позитивизму»¹³².

Однако отечественные позитивисты сосредоточивали свое основное внимание на раскрытии научно-логической несостоятельности концепции неокантианцев. П. П. Перцов отмечал расплывчатость, недоговоренность, тавтологизм, непоследовательность и противоречивость рассуждений Риккерта, смещение и подмену им ряда понятий, например частного с общим, исторического метода с историческими науками¹³³. Ф. Софронов утверждал, что ложной постановкой исторической методологии Риккерт «поощряет развитие субъективизма в исторической науке»¹³⁴. М. М. Филиппов считал, что «ахиллесова пята Риккерта в том, что самое понятие объективной ценности обосновано им очень слабо»¹³⁵.

Русские ученые позитивистской ориентации утверждали, что научный метод зависит от содержания нашего познания, что «нет и не может быть нормативного метода как метода науки», что общеобязательность норм неокантианцев делает ничемными философию и науку, доказывали, что без общих понятий невозможно изучить внутренние отношения конкретных явлений, что историческая наука, как и естествознание, изучает законы, отрицание которых напоминает, по замечанию Перцова, «неумирающее схоластическое неверие в спутников Юпитера, о которых “ничего не говорится у Аристотеля”»¹³⁶.

И нормы, и само «отнесение к ценности», по убеждению Ф. Софронова, могут и должны быть исследованы по общенаучному методу, и тогда «окажется, что образование категорий по принципу отнесения к ценности есть не более как первичная и несовершенная стадия этого же естественно-научного анализа; что в этом образовании анализ не проведен с достаточной полнотой и остановился именно перед самым моментом «отнесения к ценности»¹³⁷. ...По мнению Е. В. де-Роберти, и само противопоставление естественных и гуманитарных наук является ошибочным и лишь указывает «на различные стадии или ступени развития, через которые обычно проходят все отрасли знания. Как нет и не может быть взрослого, не бывшего когда-то ребенком, так нет и не может быть науки, которая бы не была сначала “нормативной”» «...Нормы деятельности, —

писал он, — временно заменяют собою и исполняют функцию еще не открытых законов, а управляющих соответствующими разрядами явлений»¹³⁸. «За неимением точной и совершенной теории, — заключал де-Роберти, — практическая деятельность не прекращается, не останавливается и поручает руководство собою приблизительной и отрывочной, если даже не системе узких и ложных взглядов»¹³⁹.

Русские историки позитивистской ориентации говорили об абстрактном характере неокантианской теории, ее религиозной ориентированности и даже философской реакционности. Так, Р. Ю. Виппер отмечал, что характерная черта неокантианцев — «боязнь реальности, нежелание и неумение с нею обращаться». «...Оттого они не подвигаются вперед, — писал отечественный ученый, — и не выходят за пределы философии, т. е. общих желаний и порывов»¹⁴⁰. Виппер связывал неокантианскую реставрацию философии со стремлением укрыться в «тихой пристани», спрятаться «за какую-нибудь надежную стену». «“Но к какому Канту” призывают нас эти философы?» — спрашивал историк и отвечал: — Не к Канту, великому энциклопедисту-ученому, идейному сотруднику французского просветительства XVIII в., автору новой космогонии, не к Канту, беспощадному критику метафизических понятий, а к Канту, испугавшемуся богослову, проснувшемуся догматику, который слабеющей рукой старался воскресить то, что он же разрушил всем могущественным аппаратом научного анализа нескольких поколений»¹⁴¹.

Историки-позитивисты обращали внимание и на реакционную социальную направленность идей баденской школы, связанных с утверждениями о правомерности деления народов, в зависимости от степени проявления своего отношения ко «всеобщим ценностям», на «исторические» и «неисторические», «дикие», «некультурные»¹⁴². В отличие от Риккерта такие идеи и выливались у Виндельбанда в откровенные расистские и шовинистические выводы, когда он писал: «Мы нисколько не колеблясь выражаем безусловное одобрение, когда европейское общество при помощи своей цивилизации, при помощи своих миссий и завоеваний, при помощи огнестрельного оружия и броненосцев физически и морально разрушает один “дикий” народ за другим и постепенно стирает их с лица земли. Этим

одобрением мы освящали бы лишь грубое право силы, если бы мы не были убеждены, что победоносное общество является носителем высшей нравственной ценности»¹⁴³.

Н. А. Рожков справедливо полагал, что признание своеобразия в развитии различных народов вовсе не означает того, что правомерно «то аристократическое деление разных народов на культурные, или исторические, и некультурные, или неисторические, которое проводит Риккерт»¹⁴⁴. «Все народы — исторические, — указывал историк, — одни важны по причине сходства их развития с развитием других народов, другие важны также и по причине относительного своеобразия их развития»¹⁴⁵. Отечественный ученый настаивал на необходимости не противопоставлять народы, а объяснять происхождение особенностей их развития, которое, по его мнению, «определяется и уясняется при помощи тех же самых общих законов, действие которых наблюдается и в случае сходства разных явлений»¹⁴⁶.

Однако основное внимание в своей критике концепции Виндельбанда и Риккерта историки-позитивисты уделяли ее логико-методологической несостоятельности, показывая неприемлемость неокантианской классификации наук, возможность применения в истории генерализирующего метода, субъективистский характер аксиологического учения баденской школы.

Р. Ю. Виппер, Н. А. Рожков утверждали, что выдвинутая немецкими неокантианцами концепция специфики исторической науки отражает конкретно-историографическую практику лишь определенной группы немецких историков. Виппер полагал, что Риккерт выразил позицию большой школы философов и историков в Германии, которая «относится с характерным, почти националистическим недоверием к социологии как научному методу, чуждому Германии, выросшему на почве французской и английской мысли»¹⁴⁷. Рожков еще более определенно расценивал выводы Виндельбанда и Риккерта «как теоретическую формулировку тех приемов и задач исторического изучения, которые составляют отличительную особенность многочисленных немецких историков школы Ранке»¹⁴⁸. При этом Рожков, выражая свое неприятие исследовательской практики школы Ранке, характеризовал труды Виндельбанда и Риккерта как теоретическое оправдание работы таких историков, которые являются эрудитами, истинными чернорабочими, но которые

из-за деревьев не видят леса, не являются учеными в собственном смысле слова, поскольку, по его мнению, без познания общего «нет науки, а есть только простое накопление несистематизированных, не подвергнутых анализу фактов»¹⁴⁹.

Историки позитивистской ориентации стремились показать близость роли генерализации в историческом и естественно-научном исследовании. Н. А. Рожков утверждал, что «в действительности нет ничего чисто или абсолютно индивидуального не только в мире физических явлений, но и в психической сфере. Правильное изучение психологии общества необходимо предполагает дробление последнего на психические группы, при котором и оказывается, что различные индивидуальности входят в состав высшего целого — психологического типа или характера, — и так называемые великие или гениальные люди — все эти Гете и Бисмарки, о которых говорит Риккерт, не представляют в этом отношении никакого исключения, отличаясь от лиц одного с ними психологического склада только количественно, а не качественно, не принципиально»¹⁵⁰. Из таких рассуждений русский ученый делает заключение, что «основное, по мнению Риккерта, понятие истории, понятие о “чисто индивидуальном” — должно быть устранено, снято с очереди как несостоятельное»¹⁵¹. Историк утверждает, что в истории, как и в природе, имеют место частые повторения. «Конечно, — пишет он, — при всем сходстве, наблюдаются обыкновенно и различия, но разве в природе отдельные конкретные явления вполне точно совпадают друг с другом...» «Следовательно, — делает Рожков еще один важный вывод о принципиальном единстве научного знания, — и социальные предсказания так же возможны, как и предсказания в естествознании. Если первые труднее и реже удаются, то это происходит от большей сложности социальных явлений и меньшей разработанности общественных наук — и только»¹⁵².

Д. М. Петрушевский на основании практики собственных конкретно-исторических исследований также утверждал, что в истории, «как и во всякой другой науке, индивидуализирующее изучение конкретного, индивидуального предполагает как свою необходимую предпосылку, генерализирующее его изучение»¹⁵³. Ученый отмечал, что понимание индивидуального процесса феодализации средневековой Англии, его индивидуаль-

ных форм, особенностей английского феодализма совершенно немислимо без предварительной разработки общих понятий о феодализации, феодализме и о его типических формах¹⁵⁴. М. М. Хвостов указывал, что общие понятия в истории требуются для ее причинного истолкования¹⁵⁵.

Сходство исторической науки и естествознания историки-позитивисты обосновывали утверждениями, что история, как и науки о природе, сама вырабатывает общие понятия в процессе своей обобщающей работы. М. М. Хвостов, говоря о таких общеисторических понятиях, как «факторы общественной эволюции», отмечал, что они не только заимствуются из других областей знания, например географии, но и вырабатываются непосредственно обществоведением¹⁵⁶. Еще более подчеркивал роль науки истории в разработке общих понятий Д. М. Петрушевский. Опровергая мнение Риккерта, что общие понятия приносятся в историческую науку извне, отечественный ученый писал: «...Общие социологические понятия... являются продуктом научной переработки сырого конкретного и индивидуального материала... все той же исторической наукой... Только путем тщательного изучения индивидуальных исторических комбинаций, как они складывались в ряде конкретных обществ в их индивидуальном историческом развитии, историческая наука может достигать своих генерализирующих целей, установить и формулировать свои общие, социологические понятия»¹⁵⁷.

Качественно идентифицируя характер обобщающей работы истории и естествознания, историки позитивистской ориентации приходили к выводам о коренном единстве принципов и методов исторических и естественных наук. Так, Р. Ю. Виппер из критического анализа неокантианской методологической концепции делал заключение, что «история или вообще общественные науки по своим приемам и задачам не стоят в резкой противоположности к наукам естественным»¹⁵⁸. В. Н. Перцев отмечал, что «принципы познания научной истины одни и те же для всех: и для социолога, и для историка, и для обществоведа, и для естествоиспытателя — и что все научные деятели, работая над разным материалом, по разным техническим приемам, тем не менее сойдутся в основных принципах своей работы, найдут на своих торных путях одни и те же объединяющие их начала»¹⁵⁹. По мнению Н. А. Рожкова, исто-

рию и естествознание не позволяют принципиально разграничить ни возможность опытной проверки исторических построений, ни использование метода наблюдения, ни своеобразие исторических источников. С одной стороны, с его точки зрения, «всякий человек, живущий сознательною жизнью, приобретает десятки и сотни случаев, когда для него открывается возможность на опыте проверить историческую или социологическую теорию», и использование опыта лишь более ограниченно по сравнению с естествознанием. С другой — и естественные науки признают, подобно истории, важность наблюдения, а в некоторых из них, например астрономии, «оно играет даже исключительную роль, отнюдь не мешая этим отраслям оставаться точными знаниями»¹⁶⁰. «Что касается неполноты и недостоверности исторических источников, — писал историк, — то, во-первых, Риккерт забывает здесь о главной заслуге той исторической школы, которая ему наиболее симпатична, — школы Ранке, поставившей, как известно, на надлежащую высоту так называемую историческую критику; во-вторых, и в естествознании абсолютная полнота материала столь же недостижимый идеал, как и в истории; в-третьих, наконец, историк, если он вместе с тем и социолог, т. е. настоящий ученый историк, не затруднится по уцелевшим обломкам старины восстановить целое, подобно тому, как палеонтолог по одной найденной кости восстанавливает исчезнувшее допотопное животное»¹⁶¹.

О «чрезмерном преувеличении» Риккертом противоположности методов истории и естествознания писал и М. М. Хвостов¹⁶². С точки зрения историка, и природу, и человеческое общество «в равной степени» необходимо изучать и индивидуализирующим, и генерализирующим методом. Он говорил: «Для естественника, изучающего какую-либо местность с геологической стороны, интересны бывают не только общие законы физики, химии и т. п., подтвержденные данными геологическими явлениями, но так же и каждая отдельная геологическая формация; его интересует и то, как общие геологические законы проявляются в данной местности. Индивидуализирующий метод применяется в таких естественных науках, как описательная география... Точно так же и в науках о человеческих обществах можно применять оба метода: искать общее в общественных явлениях (генерализировать), как это делают политическая экономия, наука о праве и др., и, напротив, изучать частности»¹⁶³.

Историки-позитивисты показывали противоречивость теоретико-методологических построений Риккерта, непоследовательность проведения им своей точки зрения. Д. М. Петрушевский отмечал, что изложение Риккертом вопроса о делении наук по применяемым ими методам, в котором немецкий философ отчасти допускает генерализирующий метод в языкознание, психологию, юриспруденцию, политическую экономию, несогласованно, и «нельзя сказать, чтобы ему удалось провести принципиально методологическую границу между науками о природе и науками о культуре и доказать, что науки о культуре по логическому существу своему являются науками индивидуализирующими в противоположность наукам о природе как наукам генерализирующим...» «Собственная его позиция в этом пункте, — заключал историк, — далека от определенности»¹⁶⁴. М. М. Хвостов замечал, что Виндельбанду и Риккерт не удалось последовательно реализовать свою классификацию наук, основанную на различии целей субъекта познания, поскольку, «в сущности, оба названные философа, приводя свою классификацию наук в деталях, почти вернулись к традиционному делению наук по их объектам»¹⁶⁵. По мнению русского историка, неокантианцам не удалось обойтись и без общих понятий. «Ведь самые “ценности” Риккерта (хозяйство, право, религия, культура), — говорил он, — не что иное, как общие понятия в естественно-научном смысле слова»¹⁶⁶.

Еще более резкой и интенсивной была критика отечественной позитивистской исторической наукой неокантианской аксиологии. Так, Д. М. Петрушевский, признавая «ясность и определенность», «в большой мере» присущие мысли Риккерта по другим вопросам, считал, что в его рассуждениях о методе отнесения к ценности они уступают место «крайней неясности и неопределенности, граничащих подчас со спутанностью и противоречивостью»¹⁶⁷.

В рамках различных вариантов русской позитивистской историографии критика аксиологического учения неокантианцев была связана с выявлением субъективной природы неокантианской категории ценности, вследствие чего эта категория как критерий выбора существенного в истории отвергалась и была направлена на то, чтобы отстоять единый общенаучный метод познания. С развернутой критикой неокантианской теории ценностей выступили такие историки, как Р. Ю. Виппер, В. Н. Перцев, Н. А. Рожков, М. М. Хвостов.

М. М. Хвостов, трактуя понятие ценности как субъективное, полагал, что способ отбора существенных фактов в истории, основанный на таком субъективном понятии, оказывается недостаточным для научного построения исторической науки. «Будучи практически малопригодным, — писал он, — “отнесение к ценности” как принцип для выбора фактов может оказаться и прямо вредным для интересов науки. Дело в том, что, как ни настаивает Риккерт на возможности объективного построения системы ценностей, в этой области весьма трудно на практике обойтись без субъективизма»¹⁶⁸. Отмечая затруднительность применения риккертовских ценностей в реальном конкретно-историческом исследовании, отечественный ученый говорил, что даже если допустить, что «система общепризнанных культурных ценностей» будет выработана до деталей, это все равно не будет способствовать реализации той функции категории «ценность», которой ее наделяет Риккерт, поскольку вопрос о критерии выбора существенного и в этом предполагаемом случае остается открытым¹⁶⁹.

В вопросе о критерии выбора существенного в истории Хвостов солидаризировался с точкой зрения немецкого историка Э. Мейера. Мейер, разделяя мнение Риккерта об описательном индивидуализирующем характере исторической науки и также отвергая само наличие законов в истории¹⁷⁰, не соглашался с риккертовским пониманием природы ценности как категории абсолютной и настаивал на том, что «историческими могут считаться только такие факты, которые оказали или оказывают влияние»¹⁷¹.

М. М. Хвостов писал: «Единственный путь определения значения того или другого исторического факта... заключается в чисто эмпирическом анализе его последствий: чем больше последствий имел данный факт, тем больше его историческое значение.... Это чисто эмпирическая работа»¹⁷². Он отмечал, что и сам Риккерт фактически сбивается на подобную точку зрения, когда относит вопрос о роли личности в истории к компетенции конкретно-исторического исследования и тем самым отказывается решать его с позиций своего метода отнесения к ценности¹⁷³.

Для опровержения риккертовского ценностного подхода как единственного метода исторического познания Хвостов также использует рассуждение Риккерта о необходимости различения

первостепенных и второстепенных исторических индивидуумов на основании того, в каком отношении — прямом или косвенном — находятся эти индивидуумы к руководящей точке зрения ценности. Так, по мнению Риккерта, для истории Пруссии будет представлять «в высшей степени» первостепенный исторический интерес фигура Фридриха Вильгельма I, в то время как для истории философии она будет иметь лишь второстепенное значение, связанное с влиянием Фридриха Вильгельма I на судьбу Христиана Вольфа¹⁷⁴. Но ведь для определения степени близости отношения исторических связей фактов к той или иной ценности, замечал Хвостов, историк неизбежно должен обратиться к анализу причинно-следственных связей фактов прошлого, а такой путь, по его мнению, и означал бы отклонение основной точки зрения Риккерта¹⁷⁵. Чтобы собственные рассуждения немецкого философа не привели его к отказу от своего принципа выбора существенного в истории, как продолжал русский историк, «Риккерт просто исключает детальное рассмотрение вопроса о методе различения первостепенных и второстепенных фактов... из области логики и довольствуется заявлениями... что то, как далеко история прослеживает второстепенно исторические причинные ряды, в значительной мере «предоставлено вкусу и произволу историка» (!). «Но мы должны признать, что, если история будет руководствоваться такими методологическими приемами, которые рекомендуют обращение к фантазии, вкусу и произволу историка, то придется вовсе отказаться от научной истории, а этого отказа отнюдь не желает сам Риккерт»¹⁷⁶.

Н. А. Рожков также отмечал, что «ни в каких абсолютных нравственных ценностях» нет «ни малейшей нужды ни при каких научных исторических построениях»¹⁷⁷. Отрицая специфику исторического познания и пытаясь подчинить историю принципам, заимствованным из биологической науки, он отвергал и оценку в историческом исследовании. «Как в естествознании начало и конец развития какого-либо вида определяется его существованием без всякой примеси нравственной оценки, — писал ученый, — так и в истории способность к сохранению существования служит достаточным мерилom, позволяющим различать появление общественного союза и его разложение. Ни для какой субъективной нравственной оценки тут совершенно нет места»¹⁷⁸.

Не мог принять риккертовское истолкование природы ценности и В. Н. Перцев, который считал, что «реальные ценности» можно «понимать вне всякого отношения к каким бы то ни было абсолютам»¹⁷⁹. Против абсолютизации ценностей выступал также В. К. Пискорский¹⁸⁰.

Понимая ценность как категорию субъективную, русские историки позитивистской ориентации если и признавали в какой-то степени наличие ценностного подхода в историческом исследовании, то распространяли его действие на все сферы научного познания.

М. М. Хвостов, признавая роль ценностного подхода «в сфере выбора тем для изучения», полагал, что в этом смысле понятие «ценности» имеет во многом аналогичное значение как в истории, так и в естественных науках: в обеих областях человеческого знания, по его мнению, будет появляться в данный исторический момент больше трудов по тем вопросам, которые интересуют более значительную часть общества. Он соглашался допустить только количественное преобладание ценностного подхода в исторической науке в связи с большей близостью ее объекта для субъекта познания¹⁸¹.

Еще дальше в отождествлении роли ценностного отношения в историческом и естественно-научном познании шел Р. Ю. Виппер. Рассматривая весь процесс познания как обусловленный биологическими потребностями человеческого организма и фактически отождествляя его с процессом оценки, он утверждал, что все науки в равной мере имеют дело с ценностями¹⁸². «И в области общественной жизни, — продолжал историк, — ценности возникают точно так же и точно так же определяются их биологическим значением для человека; культурные блага — это его жизнеохраняющие элементы. Без сомнения, в исторической жизни ценности образуют особенно сложные комбинации. Представления о них, оценки меняются быстрее, более зависят от состояния культуры, более варьируются в зависимости от партийного, профессионального, классового положения. Это делает затруднительным соглашение воззрений разных групп людей. Но в пределах каждого отдельного мировоззрения эти так называемые субъективные черты не меняют дела, не вызывают необходимости применять какой-либо особый, иной метод: сравнение осуществимо в той же мере, также

возможно выделение типического и т. д.»¹⁸³. На основании этих рассуждений отечественный ученый и делал, в противоположность Риккерт, выводы о том, что оценки не составляют «какую-то исключительную особенность исторической науки» и что метод науки не меняется «в зависимости от того, безразличен для нас материал, который мы изучаем, или он составляет прямую для нас ценность»¹⁸⁴.

Б. Г. Сафронов справедливо отмечает, что общее направление критики Виппером неокантианской идеи противопоставления естественных наук наукам об обществе «органически связано с духом эмпириокритицизма, склонного распространять на общественные науки принципы, провозглашенные его основоположниками первоначально на естественно-научном материале, и в самом “духе”, то есть психическом, не признававшими нечто существенно отличное от физического»¹⁸⁵.

Ученик Виппера В. Н. Перцев¹⁸⁶ вел критику неокантианской теории ценностей через сопоставление взглядов Риккерта и одного из крупнейших в то время противников риккертского метода отнесения к ценности Ксенополя.

Профессор Ясского университета А. Д. Ксенополь, указывая на необоснованность риккертской трактовки ценностей как трансцендентных, абсолютных, общезначимых категорий и говоря об изменчивом характере морали, всех достижений культуры и ценностей, настаивал, в противоположность Риккерт, на субъективной природе этой категории, утверждая, что «личная нота неотделима от идеи ценности»¹⁸⁷. Ксенополь трактовал ценность как интерес, «...который проявлялся в более или менее произвольных актах оценки»¹⁸⁸. Основные выводы румынского теоретика сводились к следующему. «Понятие ценности, — писал он, — не может принести пользу научной организации истории по следующим соображениям: а) оно не принадлежит к области логики, будучи понятием морального характера; в) оно не может быть абсолютным понятием: наука же не может основываться на относительном; с) если придавать ему значение научного интереса, оно принадлежит всей области познания и, следовательно, не может составлять отличительного признака истории»¹⁸⁹. В историческом исследовании, которое претендует на научный характер, по мнению философа, необходимо «воздерживаться от всякой оценки и строго

ограничиваться установлением фактов сообразно действительности, с указанием их причин»¹⁹⁰.

Перцев не соглашался с отождествлением Ксенополем категорий «ценность» и «оценка», поскольку такое отождествление, по мнению историка, уводило его в сторону от поставленного Риккертом вопроса о принципе отделения существенного от несущественного в истории¹⁹¹.

Перцев ставил в заслугу Риккерту то, что через понятие ценности он дал объяснение понятию интереса¹⁹². Но в такой роли, с точки зрения русского ученого, категория ценности присуща «наряду с науками историческими и наукам естественным», поскольку и там подбор материала и его классификация совершаются «с точки зрения определенных природных ценностей»¹⁹³. «Если это так, — заключал он, — то наряду с противоположностью номотетического и идиографического метода падает и новое разграничение между науками естественными и историческими. Все более выясняется, что принципы познания научной истины одни и те же для всех: и для социолога, и для историка, и для обществоведа, и для естествоиспытателя, — и что все научные деятели, работая над разным материалом по разным техническим приемам, тем не менее сойдутся в основных принципах своей работы, найдут на своих торных путях одни и те же объединяющие их начала»¹⁹⁴.

Такая критика неокантианской методологической концепции, несомненно, содержала в себе ряд интересных и плодотворных идей, связанных с попытками отстоять единство установок и методов научного исследования, право исторической науки на поиск общих тенденций социального развития, со стремлением осмыслить категорию ценности как общенаучную, разграничить понятия «ценность» и «оценка» и обосновать взаимосвязь этих понятий с положениями о зависимости исторических оценок от современной ученому системы ценностей и его классово-партийной позиции. Вместе с тем критика неокантианства отечественными историками позитивистской ориентации носила все-таки ограниченный характер, поскольку основывалась на метафизическом отрицании специфики исторического познания и поэтому не могла вывести историческую науку из начавшегося кризиса. Тем не менее настрой позитивистской историографии не мог не повлиять на сторонников нео-

кантианского учения в России. Вместе с тем развитие общественно-политических процессов в стране обуславливало и определенное сближение настроений русских историков-неокантианцев с критическими выводами в отношении теории баденской школы отечественной религиозной философии.

Под влиянием позитивистской методологии А. С. Лаппо-Данилевский подвергал критике родоначальников неокантианства за то, что они излишне увлекались логическим противопоставлением истории естествознанию, забывали об общности методов исторической науки и некоторых отраслей естественных дисциплин, за то, что включали в задачу науки истории не научное построение, а «изображение индивидуального», которое легко спутать с художественным воспроизведением его с чисто эстетической точки зрения; историк порицал Виндельбанда и Риккерта также за то, что они мало интересовались свойствами объектов, изучаемых историей, и придавали «понятию “индивидуального” гораздо более узкое значение»¹⁹⁵. В. М. Хвостов тоже связывал слабую сторону методологических построений Риккерта с его недостаточным вниманием к отличиям в объектах исследования разных наук, отмечая, что в концепции немецкого философа не было проведено «никаких различий между причинностью мира физического и психического»¹⁹⁶.

Отечественные историки-неокантианцы подвергали критике и аксиологическое учение баденской школы. В. М. Хвостов резко выступал против риккертовского понимания природы ценностей как абсолютных самодовлеющих сущностей. «Какую базу для логики, — спрашивал он, — может создать трансцендентная ценность, о которой говорится, что она не есть бытие, но не есть и ничто, а есть какое-то “нечто”? Признаюсь, я так мало понимаю, что это значит, что никакой базы ни для чего в подобном понятии не могу найти»¹⁹⁷. Не соглашался со всеми положениями аксиологического учения Виндельбанда и Риккерта и А. С. Лаппо-Данилевский. Он замечал, что основатели идиографической теории, в сущности, свели систему абсолютных ценностей в области исторических построений к понятию о ценности этической и на этом основании исключили самое установление абсолютных ценностей из специально-исторического исследования, считая интерес историка к изучаемой им действительности «данным ему». Это положение нео-

кантианской теории ценностей, по его мнению, было неоправданно, так как в нем не вполне различалось отнесение объекта истории к обоснованной ценности от отнесения его к ценности общепризнанной. Фактически выступая против эмпиризма и антиисторизма неокантианства, согласно которому историк должен относить все факты прошлого лишь к абсолютной трансцендентной ценности, русский ученый говорил о необходимости сознательно проводить такое различие «и для того, кто занимается исторической работой», «а не довольствуется лишь простою интуицией»¹⁹⁸. Он критиковал представителей неокантианской философии истории за их пренебрежение к различению между понятиями о «всеобщем значении» индивидуальности и ее «историческом значении», связанном, с точки зрения историка, не только с ценностью, но и с действительностью индивидуального¹⁹⁹.

Вместе с тем своей критикой неокантианской философии В. М. Хвостов в известной мере пытался преодолеть и присущие ей рационалистические моменты. Учение Виндельбанда и Риккерта не принималось отечественным мыслителем за то, что в нем «совершенно игнорируются» проблемы веры, что оно предлагает «вместо Живого Бога» одну лишь его идею и тем самым не дает никакого ответа «на основные вопросы жизни»²⁰⁰. Русский теоретик считал, что своей концепцией трансцендентных ценностей Риккерт утверждает законность одной лишь логически доказуемой истины. Но логическая истина, по Хвостову, будучи созданием нашего мышления в качестве его идеала, сама нуждается в каком-либо ином обосновании, являющемся порукой ее реальности²⁰¹.

Такое критическое отношение к методологической концепции баденской школы, в свою очередь, предопределило и особенности неокантианского течения в исторической мысли России.

Позитивистские традиции обуславливали то, что отечественные историки-неокантианцы пытались сгладить противопоставление немецкими теоретиками исторической науки естествознанию. Признавая идиографический метод основным методом исторического познания, русские ученые дополняли его приемами исследования прошлого, имеющими общенаучный характер и связанными с выявлением общих связей и отношений. Признание же ими роли обобщений в историческом

исследовании приводило их к более позитивной по сравнению с немецкими мыслителями постановке вопроса о соотношении истории и теории. При этом характер причинно-следственных связей в историческом процессе отечественная неокантианская историография истолковывала преимущественно в психологическом смысле. Так, Н. М. Бубнов считал, что историческая наука, наряду с отнесением фактов прошлого к культурным ценностям, должна воспроизводить связную и цельную картину исторической жизни, а также говорил о тесной взаимосвязи философии и истории и важном значении первой для второй; историческую же причинность он рассматривал как имеющую психофизический характер ²⁰².

Особенно своеобразными были теоретико-методологические воззрения В. М. Хвостова, который не только сохранял верность некоторым установкам позитивистской теории, но и испытывал определенное воздействие иррационалистической религиозной философии.

Вениамин Михайлович Хвостов (1868—1920) — профессор Московского университета, специалист в области истории римского права ²⁰³ — полагал, что «“правильная” разработка истории права мыслима лишь на почве общей истории» ²⁰⁴. Вместе с тем, с его точки зрения, ни один историк, стремящийся глубоко осмыслить свой исторический материал, не может обойтись без какой-либо философии истории ²⁰⁵. Такая постановка вопроса и определила интерес Хвостова к широкому кругу философских и методологических проблем исторической науки.

В своей методологической концепции Хвостов пытался объединить концепцию Риккерта с воззрениями другого крупного немецкого философа В. Вундта.

Вильгельм Вундт, критикуя Риккерта за непомерное преувеличение им категории ценности в теории исторического познания, отмечал, что ценностный подход к истории не может являться единственным методом исследования прошлого в силу следующих причин: во-первых, в процессе исторического развития производятся отнюдь не только культурные ценности, и во-вторых, по его мнению, назначение всякой, в том числе и исторической, науки заключается, прежде всего, в понимании взаимосвязи фактов ²⁰⁶.

Присоединяясь к вундтовской трактовке общих задач научного знания, Хвостов в то же время выступил с критикой Вундта за то, что «он не отметил с достаточной силой разницы между знанием об общем и знанием об индивидуальном»²⁰⁷. Такое противопоставление наук вменялось русским методологом в особую заслугу Риккерт.

Хвостов определял историю как науку «о тех шагах, которые совершило культурное человечество на своем пути к созданию всякого рода культурных ценностей, логических, этических, эстетических»²⁰⁸. Однако, не разделяя оценки Риккертом ценностного подхода в качестве единственного приема исследования истории, отечественный ученый попытался соединить взгляды двух немецких философов. «Будучи наукой индивидуализирующей, как ее характеризует Риккерт, — писал он, — история есть в то же время наука генетическая, в смысле Вундта»²⁰⁹.

Все разнообразные индивидуальные события и состояния минувшей жизни человечества, согласно Хвостову, представляют для историка интерес «по методу отнесения к ценности», но исторические процессы изучаются историей с точки зрения их закономерности. Именно общая историческая закономерность, полагал он, и дает основание признать историю не только делом памяти и включить историческую науку в общую систему научного знания²¹⁰. Хотя собственно история, считал методолог, и не устанавливает общих законов, являясь наукой об отдельных неповторяющихся событиях прошлого, но материал единичных фактов, который исследуется исторической наукой, она «рассматривает и объясняет с точки зрения общих законов, установленных другими науками», и прежде всего философией истории или теорией исторического процесса²¹¹. По его мнению, сам процесс творчества культурных ценностей в истории есть проявление сформулированного Вундтом «закона нарастания духовной энергии»²¹².

Однако это соединение в историческом исследовании ценностного и каузального подходов к прошлому осуществлялось на основе подчиненности изучения причинно-следственных отношений ценностному подходу, основанному на субъективных в конечном счете ценностях. А историческая закономерность оставалась только средством осознания субъективно отобранного материала по методу отнесения к ценностям. К тому

же трактовка закономерности Хвостовым имела ограниченный характер: следуя Вундту, историк понимал под законом лишь формулу, «прямо или косвенно» указывающую на «причинную или логическую зависимость» фактов ²¹³.

При этом, если Риккерт своей теорией пытался преодолеть иррационализм, то Хвостов открыто вносил его в свою философию истории. Собственно, уже само понимание исторической причинности имело у русского мыслителя иррациональный характер, поскольку историческая причинность отождествлялась им с причинностью психической. Психическую же причинность он связывал с абсолютной свободой и незапрограммированностью в творчестве новых ценностей ²¹⁴. И хотя ученый заявлял, что историческая причинность вполне может быть подведена под общие законы, устанавливаемые теорией исторического процесса, что сведение исторических событий к категории случая вовсе не исключает наличия закономерности истории: с его точки зрения, случай есть простой результат неполноты наших знаний и свидетельствует не об отсутствии причинно-следственной обусловленности событий прошлого, а лишь о том, что историк не может восстановить причинную связь явлений, — тем не менее случайность в истории, по его мысли, оказывалась принципиально неустранимой в силу самого характера исторической причинности ²¹⁵.

И в основание своей классификации наук Хвостов положил прежде всего не противоположность методов разных областей научного знания, а различный характер причинности, господствующий, по его мнению, в мире физических и духовных явлений ²¹⁶. Именно на существенных различиях в предметах, с которыми имеют дело естественные и гуманитарные науки, с точки зрения методолога, базируется разнородность методов этих сфер человеческого знания ²¹⁷. Он решительно отвергал всякую иную классификацию наук, в которой не учитывалось «надлежащим» образом отличие физической и психической причинности ²¹⁸.

В связи с этим представляется неправомерным утверждение Л. Н. Хмылева, что для В. М. Хвостова была характерна «последовательно риккертская позиция в понимании исторической причинной связи» и что он являлся единственным представителем отечественной неокантианской методологии исто-

рии, «кто принял риккертовскую классификацию наук на “науки о природе и науки о духе”»²¹⁹. В действительности, не «науки о культуре», как это имело место у Риккерта, а именно «науки о духе» составили в классификации научного знания русского теоретика антитезу естественным дисциплинам²²⁰.

Хвостов указал на логическую абсурдность определения ценности Риккертом. Но реальное содержание понятию ценности он пытался придать тем, что всецело перемещал это понятие в область психического. С его точки зрения, ценности являются психической реальностью в том смысле, что активная деятельность сознания сама для себя создает нормы²²¹. «Говоря о культурных ценностях, — писал Хвостов, — я остаюсь на почве тех представлений, которые сам Риккерт назвал бы “вредным психологизмом”». Под этими ценностями я разумею те содержания мысли, чувства и воли, которые создаются людьми в процессе их социально-психического действия. Если люди надеются найти общеобязательное содержание этих ценностей как окончательный итог своего культурного развития, то это обстоятельство, как мне кажется, не дает основания выделять понятие ценности из области бытия, как это делает Риккерт»²²².

Трактовка Хвостовым ценностей как субъективно-идеалистических конструкций индивида и его положение об их изменяемости в процессе постоянного творчества, обусловленного характером психической причинности, предопределили то, что у него ценностный подход уже не мог служить гарантом постижения объективной истины в истории, как это представлялось Риккерту. «Мы должны примириться с тем, что каждый историк всегда остается до известной степени субъективным, — говорил мыслитель. — ...История пишется людьми и для людей, и на ней всегда будет отражаться несовершенство нашей познавательной деятельности, а также и те более или менее преходящие интересы, которыми живут люди, исследующие исторические события»²²³. Он полагал, что в силу развития самих представлений о ценностях при применении метода отнесения к ценности «всегда будут субъективные различия между отдельными историками», которые проявятся как при выборе темы, так и материала исследования²²⁴.

Хвостов попытался предложить свои меры, предохраняющие историка от внесения предвзятых точек зрения в его работу. Но путь сведения «субъективизма в истории до минимума», рекомендуемый им, состоял, во-первых, в присущем и немецким неокантианцам требовании элиминации из исторических исследований понятия «прогресса», а во-вторых, в применении «так называемых относительных масштабов». «Этот прием, — писал он, — состоит в следующем: при изложении исторического процесса следует остерегаться излагать его с точки зрения наших идеалов и стремлений, но надлежит изображать исторические события с точки зрения тех людей, которые в них участвовали»²²⁵. По совету Хвостова, историк, являющийся, например, противником монархического строя, должен отрешиться от своих воззрений при изучении эпохи Августа и стать на точку зрения основателя монархии, прослеживая реализацию планов данного исторического деятеля²²⁶.

Ученый советовал историку «стараться восстановить психологию минувших народов и эпох»²²⁷. Но поскольку, с его точки зрения, единственным способом познания чужой психической жизни является умозаключение о ней «по аналогии с собственным душевным переживанием», то «является неизбежная склонность при оценке чужой психики мерить других своей меркой», что опять-таки, по признанию самого Хвостова, ведет к субъективизму в историческом исследовании²²⁸.

Существующая тенденция субъективного изучения истории приводит, по его мнению, к возникновению трех «обычных и типичных ошибок при изложении исторических событий». Первая — состоит в рационализации истории и связана с тем, что люди интеллигентные, привыкшие «действовать на основании логических соображений», склонны «приписывать такой же рационализм народным массам», который обыкновенно им не свойственен. Вторая — заключается в предрасположенности к модернизации прошедших событий. И третья ошибка основана на стремлении «индивидуализировать историю», которое состоит в попытках «во что бы то ни стало найти руководящих деятелей в историческом процессе»; эта ошибка, с точки зрения Хвостова, «вытекает из того, что индивидуальное творчество каждому из нас ближе и понятнее, чем коллективное творчество народных масс»²²⁹.

Методолог настойчиво рекомендует историку, «по крайней мере сознательно», не вносить субъективного элемента в свои исследования²³⁰, но средство, позволяющее историку избежать всех свойственных ему невольных субъективных тенденций, он фактически усматривал лишь в апелляции к интуиции историка, которая к тому же, по его собственным словам, «не всем дана в одинаковой степени»²³¹.

Соглашаясь с Риккертом, что оценка исторических событий относится к компетенции философа, Хвостов расходился с ним и в вопросе о характере философского осмысления мира. Отечественный мыслитель выступал против стремления Риккерта «отождествить методы философии и науки»²³², усматривая во всех его построениях только «замаскированную» мистику²³³. Однако опровержение философии немецких неокантианцев имело у него своей целью не преодоление мистицизма, а, напротив, преодоление присущих неокантианской теории рациональных моментов.

Понимая под наукой такую систему знаний о мире, которая находится «в необходимой для нашего сознания логической связи и последовательности, так что каждое поколение опирается на все остальные», Хвостов полагал, что в идеале всякое научное, в том числе и историческое, знание должно представлять нам весь мир как одно связное целое, охваченное всепроникающей закономерностью²³⁴.

Идеал гуманитарных наук он видел еще более широким, содержащим в себе моменты, присущие только этой сфере научного знания в силу ее специфики. В отличие от процессов, происходящих в неживой природе, говорил Хвостов, в индивидуальной и социальной человеческой деятельности, где имеет место постоянное творчество все новых ценностей, мы встречаемся с понятием цели, которую человек как существо мыслящее непременно полагает в своей деятельности²³⁵. Применительно к миру людей, писал историк, «является, следовательно, потребность в масштабе, при помощи которого производилась бы сравнительная оценка идеалов, определялось бы, какие цели стоят выше и какие ниже, каким должно отдаваться предпочтение при коллизии противоречивых интересов и стремлений... Проблема состоит в том, что является высшим благом для человека, к какой последней и абсолютной цели должны быть направлены его творческие способности»²³⁶.

Таким образом, с точки зрения Хвостова, «законченное» знание должно описать мир так, чтобы из этой картины «с полной логической очевидностью и несомненностью вытекала бы система соотношения целей» и этим «разreshался бы самый важный для нас вопрос: о назначении человека в жизни вселенной»²³⁷. Но такой идеал знания, согласно мыслителю, оказался принципиально недостижимым для науки. Наука, считал он, не может даже логически обосновать правомерность своего идеала²³⁸. Тем более, по его мнению, она не в состоянии с полной убедительностью показать, какова конечная и обязательная цель стремлений людей: наука, по утверждению Хвостова, до сих пор не разобралась в том, действительно ли человечество в своем развитии идет к добру, делаются ли люди нравственнее и счастливее по мере развития культуры, что представляет собой настоящее человеческое счастье; все предпринимавшиеся попытки научными средствами доказать как пессимистический, так и оптимистический взгляды на историю человечества оказались, с точки зрения ученого, неудачными²³⁹.

Причину неспособности науки разрешить все эти вопросы Хвостов усматривал в самом характере научного познания, которое, по его мнению, не располагает иными средствами, кроме расчленения, сопоставления и сравнения, и вынуждено дробить то, что на самом деле представляет слитное целое; поэтому, считал мыслитель, научное знание никогда не охватит мир в его абсолютной целостности и полноте, не познает абсолюта. «Ведь абсолют, — писал он, — есть нечто такое, что ни от чего не зависит и ни с чем не сравнимо»²⁴⁰.

Возможность решения поставленных вопросов при ограниченности научного познания Хвостов искал в обращении к простому непосредственному чувству, которое не поддается «ни проверке, ни доказательствам», прежде всего, к пронизывающей, с его точки зрения, человека вере в добро, и мистическому чувству, дающему людям «уверенность в положительной ценности мира»²⁴¹.

При этом, сознательно становясь на иррационалистическую платформу, Хвостов был убежден, что служит интересам самой науки и защищает ее интересы от навязывания чуждых ей задач²⁴². Он указывал на особые заслуги У. Джеймса и А. Бергсона, создавших учения о религиозно-мистическом опыте и о

непосредственной интуиции, в которых, по его мнению, была доказана недостаточность рационализма²⁴³.

С точки зрения Хвостова, если даже сам идеал научного знания, связанный с гипотезой всеобщей причинности, основывается на безотчетном стремлении «нашего духа к единству»²⁴⁴, то научные средства и вовсе непригодны в области вопросов о добре и зле и о ценности жизни, где, как утверждал он, «иррациональные стороны бытия получают решающее значение»²⁴⁵.

«Итак, — заключал Хвостов, — со стороны чувства и воли мы получили ответ, который хотя не поддается проверке средствами логического мышления, но имеет характер абсолютной категоричности. Нам остается последовать указаниям космического чувства, соединяющего нас с миром, жить и действовать во имя мирового добра»²⁴⁶. При этом космическое значение добра, с его точки зрения, удостоверяет людям опыт религиозный, который только и способен внушить им жизненную бодрость, укрепить их дух, давая «возможность непосредственно воспринять присутствие таинственной силы»²⁴⁷.

Так, «замаскированному» иррационализму Риккерта Хвостов противопоставлял открытое религиозное обоснование ценностей. И хотя он говорил об определенной самостоятельности и единстве научно-логического и чувственно-интуитивного познания²⁴⁸, фактически в его философской концепции наука подчинялась вере²⁴⁹, притом в такой форме, что познание научное оказалось помехой «подлинному» иррациональному знанию. «Можно даже сказать, — писал мыслитель, — что теоретическое знание само по себе чуть ли не ослабляет силу этого <мистического> чувства, так как оно нам показывает, что человек составляет ничтожную и весьма слабую частицу мира, всецело зависящую в самом своем существовании от грозных сил космоса»²⁵⁰. Он считал, что в деле установления нравственных ценностей гораздо большими возможностями располагают свободные художники, люди искусства, нежели ученые или философы²⁵¹.

Иррационалистические мотивы в теоретических построениях Хвостова имели не только гносеологические, но и социальные корни, связанные с утратой им после прокатившихся в России потрясений — особенно после революции 1905—1907 годов — веры в возможность рационального обоснования общественных идеалов и норм. Разочаровавшись в силе научного знания, он открыто обра-

щается к религиозным чувствам людей, пытаюсь видоизменить направление их социальной активности. «Если мы подошли к обрыву и сознаем, что только смелый прыжок через пропасть может спасти нам жизнь, то ведь мы не задумываемся совершить этот прыжок во имя спасения жизни, — писал мыслитель. — Такой же прыжок из области доказуемого знания в область веры во имя того же спасения жизни приходится совершить нам и в данном случае»²⁵².

Хвостов не отрицал социальных противоречий в современном ему обществе. Мир представлялся ему совокупностью противоположностей, где «разум и добро находятся в более или менее резко выраженном антагонизме со злом и неразумием»²⁵³. Но, не затуманивая общественных конфликтов, историк пытался доказать невозможность рационального разрешения этих противоречий.

Наука, с его точки зрения, в силу ограниченности своих возможностей, не способна разрешить антагонизма добра и зла в реальном мире ²⁵⁴. Да и сам процесс постоянного и незапрограммированного творчества новых ценностей, по мнению Хвостова, не позволяет «заранее предвидеть его конечные результаты»²⁵⁵. К тому же научное прогнозирование, даже если бы оно вдруг стало осуществимо, утверждает он, лишь причинило бы ущерб творческой активности человека и всего человечества, так как подавило бы их волю и свободу, которые реализуются только при состоянии неопределенности и известного риска ²⁵⁶.

«Таким образом, — писал Хвостов, — окончательная развязка мирового процесса нам неизвестна. Победа добра над злом ничем не гарантирована... Мы можем только верить в будущее торжество добра и надеяться на него, но не можем ничего с достоверностью знать в этой области»²⁵⁷. Так, отвергая возможность научного обоснования идеи прогресса, он все же оставлял человечеству возможность верить в эту идею ²⁵⁸.

Рассуждения Хвостова были крайне противоречивы. В определенной степени преодолевая антиисторизм, который был присущ неокантианской методологии в интерпретации немецких философов, русский историк еще более усилил субъективистскую направленность теории исторического познания. Характер восприятия им концепции баденской школы показывает также, что отечественная неокантианская историография явилась одним из каналов, через который в историческую мысль России проникали идеи «философии жизни».

Отечественные историки-неокантианцы преодолевали известные изъяны теории баденской школы, объективно отдалявшие ее от общего характера научного знания и диссонировавшие с реальной практикой конкретно-исторических исследований. Они не столь резко противопоставляли историческую науку естественным отраслям знания, не принимали положение о ценностном подходе как единственном методе изучения прошлого, признавали причастность истории к обобщающей работе и даже поиску закономерностей общественного развития, настаивали на взаимосвязи и даже взаимообусловленности исторической науки и философии. Тем не менее русская неокантианская историография не смогла преодолеть противоречивости концепции баденской школы, а в лице В. М. Хвостова даже усилила иррационалистические моменты, подспудно заложенные в этой концепции.

§ 3. Методологические воззрения А. С. Лаппо-Данилевского

Признанным лидером неокантианского течения в отечественной историографии был А. С. Лаппо-Данилевский (1863—1919). Именно в его творчестве с наибольшей полнотой проявилось как влияние баденской школы, так и традиции русской исторической науки. Для воззрений историка были свойственны и присущая неокантианцам направленность на выявление специфики исторического исследования, и стремление преодолеть те положения концепции немецких мыслителей, которые по существу расходились с общим характером научного знания.

Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский родился в Екатеринославской губернии в дворянской семье ²⁵⁹. Он прошел курс гимназии в Симферополе, где его отец был в то время вице-губернатором. Окончив гимназию в 1882 году с золотой медалью, Лаппо-Данилевский в том же году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Его научный путь был стремителен, исследовательские и преподавательские интересы весьма обширны.

Лаппо-Данилевский пришел в университет с определившимися склонностями к изучению археологии и первобытной истории и вскоре по поступлению на историко-филологический факультет при-

ступил к составлению обозрения «Скифские древности», которое было опубликовано уже по окончании им университета ²⁶⁰.

Лаппо-Данилевский окончил университет в 1886 году и был оставлен при нем «для приготовления к профессорскому званию». Тему магистерской диссертации — «Организация прямого обложения в Московском государстве со времен смуты до эпохи преобразований» ²⁶¹ — он избрал под непосредственным влиянием историко-юридической школы. Воздействие идей известных представителей этой школы Б. Н. Чичерина и А. Д. Градовского на свое творчество Лаппо-Данилевский признавал в автобиографических заметках ²⁶².

В 1890 году после успешной защиты магистерской диссертации он избирается приват-доцентом Петербургского университета, а в 1891 году — экстраординарным профессором Историко-филологического института. Лаппо-Данилевский стал читать курсы лекций по русской истории и русской историографии. Впоследствии к ним добавились курсы и семинары по дипломатике частных актов, теоретическим проблемам исторического источниковедения, философским проблемам общественных наук. С 1905 года курс лекций «Методология истории» Лаппо-Данилевский читал ежегодно ²⁶³. С начала своей педагогической деятельности и до конца жизни он являлся бессменным руководителем научного кружка историко-филологического факультета. Влияние Лаппо-Данилевского испытали на себе многие будущие крупные ученые: его учениками были и считали себя такие историки, как С. Н. Валк, Б. Д. Греков, А. Е. Пресняков, Б. А. Романов.

Широта преподавательской работы сочеталась у Лаппо-Данилевского с многосторонностью научно-исследовательских интересов, которыми, собственно, и определялся круг его педагогических занятий. Им был написан ряд крупных работ по экономической истории России XVII—XVIII веков, истории крестьянства, историческому источниковедению, историографии ²⁶⁴, в течение двух десятилетий велась большая теоретическая и организаторская деятельность по подготовке издания грамот Коллегии экономии.

Постепенно центр научных интересов Лаппо-Данилевского перемещается из области исследования истории учреждений в сферу истории идей, его внимание привлекал, главным образом, период царствования Екатерины II. Он задумал написать докторскую диссертацию на тему: «История политических идей

в России в XVIII веке в связи с развитием ее культуры и ходом ее политики». Но этот труд так и остался незавершенным²⁶⁵.

Вместе с тем усиливался интерес ученого к осмыслению теоретических проблем исторического познания, который вылился в создание, пожалуй, самого значительного в русской исторической мысли и одного из крупнейших в мировой философии истории исследования методологических вопросов исторической науки, осуществленного в вышедших в 1910—1913 годах двух выпусках «Методологии истории».

Деятельность Лаппо-Данилевского рано снискала признание отечественной науки. На тридцать шестом году жизни, в 1899 году он был избран адъюнктом, в 1902 — экстраординарным, а в 1905 — ординарным академиком Академии Наук, где в течение почти двадцати лет возглавлял работу в области исторических наук. С 1903 года ученый возглавил также секцию русской истории исторического общества, созданного в 1899 году по инициативе Н. И. Кареева. А в 1916 году А. С. Лаппо-Данилевский был удостоен звания почетного доктора права Кембриджского университета, куда он приглашался для чтения цикла лекций по истории научной мысли в России.

Лаппо-Данилевский отстаивал самоценность науки, резко разделяя объективно-научные и социально-политические интересы. Его ученик Б. А. Романов в речи, посвященной двадцатипятилетию юбилею научной деятельности историка, который был организован 27 октября 1915 года историческим кружком при Петербургском университете, вспомнил лишь один случай, когда учитель в стенах университета открыто высказался о политической борьбе. По словам Романова, это произошло в 1908/1909 учебном году во время студенческой забастовки, когда Лаппо-Данилевский, придя на очередную лекцию по методологии, застал в аудитории всего 6—7 человек. Отказавшись от чтения лекции, он предложил слушателям обменяться взглядами по поводу происходящего, ставя «вопрос не о целесообразности забастовки, а о ее допустимости» в храме науки. «Вы настаивали на том, — говорил Романов, обращаясь к своему учителю, — что нельзя объективные культурные ценности нести в жертву иным целям, что эти ценности должны существовать как таковые неприкосновенно и непрерывно»²⁶⁶.

Сам Лаппо-Данилевский достаточно длительное время был далек от непосредственного участия в общественно-политической

жизни. Однако 1905 год стал для него переломным в этом отношении. Во времена Первой Думы ученый был избран в Государственный Совет. А в первые месяцы после Февральской революции он вошел в комиссию Ф. Ф. Кокошкина по выработке избирательного закона в Учредительное собрание. Октябрьская революция явилась для историка, по свидетельству его близкого друга И. М. Гревса, «грозым ударом» и погрузила его «в жестокую муку»²⁶⁷.

Не оставалось застывшим и мировоззрение ученого. С течением времени оно вбирало в себя различные напластования. Как отмечал тот же Гревс, Лаппо-Данилевский с ранней юности был проникнут сильной религиозностью, «не ходячею, поверхностною, а глубокою, постоянно владевшею им мыслью о Боге, неослабным стремлением озарить повседневность образом всевышнего, вечного, встать под покровительство абсолютного начала»²⁶⁸. Религиозные мотивы сочетались у историка с методологическими установками позитивизма, определяющими характер первых этапов его научной деятельности.

Вообще, интерес к философии проявился у Лаппо-Данилевского рано. По его собственным словам, он уже в гимназический период своей жизни «знакомился с философией по труду Льюиса, с системами Конта и Милля»²⁶⁹. Ученый твердо придерживался позитивистских методологических принципов, определяя на защите своей магистерской диссертации предмет исторической науки: с его точки зрения, «всеобщая история занимается изучением норм общественного развития, общих всему человечеству»²⁷⁰.

Религиозное мировоззрение и традиции русского позитивизма обусловили и понимание Лаппо-Данилевским проблемы ценности. В 1890 году он писал: «Жизнь человеческая есть процесс достижения цели, а ценность жизни измеряется возвышенностью цели (идеала)»²⁷¹. А в переломный для отечественной историографии период развития, выразившийся в кризисе ее методологических основ, решающее влияние на историка оказала философия баденской школы неокантианства, под непосредственным воздействием которой и происходит окончательное формирование его методологических позиций.

Такое сочетание внешне противоречивых слоев в мировоззрении Лаппо-Данилевского и обусловило содержание его теоретико-методологической концепции. Сохранение более ранних

пластов в мировоззрении ученого даже при доминирующем влиянии неокантианской теории приводило к тому, что в отличие от Риккерта в воззрениях русского методолога не воздвигалась непроходимая стена, с одной стороны, между историей и естествознанием, с другой — между философией и историей, а метод отнесения к ценности не считался им единственным приемом исторического исследования.

После 1905 года меняется оценка Лаппо-Данилевского возможностей реализации обобщающей работы в исторической науке. Если до этого времени историк не только не сомневался в таких возможностях, но и признавал первенствующее значение обобщающей работы для понимания исторического процесса, то в «Методологии истории» он уже заявляет, что «“законов истории”, в строгом смысле слова, никому еще не удалось установить: историкам, стремящимся к открытию их, в лучшем случае приходится довольствоваться гадательными эмпирическими обобщениями»²⁷².

Лаппо-Данилевский выделяет два типа причинно-следственной связи — логически-необходимую и фактически-необходимую — и говорит о том, что историк может иметь дело только с последним типом, который «лишь указывает на некоторую вероятность повторения той же последовательности и в будущем»²⁷³. Таким образом, ученый подходит к осмыслению проблемы специфической исторической закономерности. Однако, трактуя закон как субъективно-идеалистическую конструкцию, методолог не видел объективной основы исторической закономерности²⁷⁴. Он противопоставил понятию закономерности категорию ценности как критерий выбора исторических фактов.

Лаппо-Данилевский принял неокантианское понимание предмета истории как «науки о культуре»²⁷⁵. Он также в целом разделял и неокантианскую классификацию наук. Историк писал: «По теоретико-познавательным точкам зрения, целям познания, а не познавательным “предметам” или “процессам” познания стали различать науки обобщающие от наук индивидуализирующих. Таким образом получился двойной ряд наук: одни из них строятся с номотетической (натуралистической) точки зрения, характеризующей естествознание в широком смысле, другие — с точки зрения идиографической (чисто “исторической”), такова история в широком смысле, т. е. история природы

и человечества»²⁷⁶. По его мнению, номотетическое построение истории оказывается недостаточным как с теоретической, так и с практической точек зрения. С теоретической — поскольку оно произвольно ограничивает задачу исторической науки, не дает знания индивидуальных особенностей, играющих немаловажную роль в истории, и не устанавливает обоснованного критерия выбора конкретных исторических фактов; с практической — поскольку оно не может успешно выполнять воспитательную функцию, не будучи в состоянии удовлетворить наш интерес к действительности, без знания реальных условий которой человек не в состоянии поступать правильно²⁷⁷. А марксизм, рассматриваемый им как вариант номотетического построения, характеризовался ученым как метафизическое и противоречивое построение, отождествляющее «материю» с «духом», которое «просто перескакивает из одной области в другую», но, «в сущности, не в состоянии с чисто материалистической точки зрения установить этические предпосылки своего учения и решить поставленную проблему обновления социального строя»²⁷⁸.

Из критического анализа номотетического построения исторического знания Лаппо-Данилевский делал заключение о «законности» идиографической точки зрения на историю²⁷⁹. Он писал: «В противоположность номотетическому построению, которое все более отдаляет нас от действительности, идиографическое построение стремится возможно более приблизиться к ней: оно изучает объекты как таковые»²⁸⁰.

Таким образом, Лаппо-Данилевский проводил разграничение между целями и методами естествознания и истории. Первое, по его мнению, выбирает объекты по степени общности их содержания; история же придает значение самому объекту, поскольку он представляет особенности, ему самому свойственные, а всеобщее значение объекта в истории возрастает по мере возрастания индивидуального его характера, особенностей, отличающих его от остальных и лишаящих историка возможности заменить его другим объектом²⁸¹.

Лаппо-Данилевский относил учение о ценности к числу «важнейших проблем социологического и исторического знания» и рассматривал его как порождение внутренней логики развития методологии истории²⁸². Он критиковал методологические построения философов и историков, таких, как Навиль, Ксено-

поль, Мейер, в которых отрицалось либо не учитывалось, с его точки зрения, должным образом значение понятия ценности в истории²⁸³. В обосновании необходимости ценностного отношения к истории методолог шел за немецкими неокантианцами²⁸⁴.

По мнению Лаппо-Данилевского, историк изучает индивидуальные события. «...Действительность, — писал он, — слишком разнородна для того, чтобы можно было изобразить ее во всей полноте, ее индивидуальных черт»²⁸⁵. Следовательно, замечал ученый, историк, как и естествоиспытатель, нуждается в критерии, с помощью которого он мог бы упрощать свой материал и «выбирать из многоплановой действительности то, что имеет историческое значение». Этот критерий, с его точки зрения, должен отличаться общим значением, ибо в противном случае историческое построение, произведенное на основании такого критерия, не будет принято всеми²⁸⁶.

Для признания же всеобщего значения факта, по Лаппо-Данилевскому, надо признать его ценность — «то значение, которое сознание вообще приписывает данному переживанию»²⁸⁷. «Нельзя не заметить, — писал он, — что сознание вообще осознает такие состояния, которые сами по себе имеют для нас определяющее его значение и характеризуются моментом некоего требования, предъявляемого нашим “я” к собственному сознанию; такие “ценности” имеют для нас абсолютное значение и, смотря по характеру требования, оказываются или познавательными, или этическими, или эстетическими. В зависимости, однако, от соблюдения или нарушения подобного рода требований или общезначимых норм и их характера, мы образуем понятия, имеющие положительное или противоположное ему отрицательное значение: истину, добро, красоту или ложь, зло, безобразие; мы, конечно, легко переносим понятия подобного рода на самые объекты, которые и получают в наших глазах соответствующее значение». «В таком случае, т. е. путем отнесения к ценности, — заключал методолог, — мы и признаем за ними положительное или отрицательное значение»²⁸⁸.

Лаппо-Данилевский противопоставлял ценностный подход поиску закономерностей обусловленности исторического процесса, характеризуя аксиологическое суждение не как субсуммирование под какое-либо общее понятие, например государство, религия, искусство, а как определенное отношение

историка к объекту, взятому в его конкретности. Основанием такого отношения, по его мнению, оказывается не общее понятие, а понятие о ценности. Он, правда, признавал, что общие ценности вместе с тем оказываются и общими понятиями, но считал, что в качестве таковых они не имеют значения для историка²⁸⁹. «Историк, — писал Лаппо-Данилевский, — лишь относит к ценностям индивидуальные объекты для выяснения того, какое значение приписать им, в силу именно их индивидуальности, признать ли их существенными или нет и т. п. С такой точки зрения и следует различать подведение под общее понятие или под закон (без всякого отношения к ценности) от “подведения” под общую ценность, путем отнесения к ней индивидуального объекта: последнее лучше называть просто отнесением к общей ценности; оно, очевидно, служит не для того, чтобы отвлечь от объекта черты, общие ему с другими объектами, а для того, чтобы, напротив, построить его индивидуальность, т. е. ту именно комбинацию его особенностей, которая и получает ценность»²⁹⁰.

Наряду с попыткой отдалить историческую науку от поиска закономерности общественного процесса, Лаппо-Данилевскому было присуще и общее всему неокантианскому течению стремление элиминировать из исторического исследования оценку фактов прошлого. Он характеризовал эту оценку как психологическое, волевое отношение историка к рассматриваемому им объекту, при котором субъект испытывает определенное влечение или неприязнь к объекту, сознавая, что данный объект приятен или неприятен ему, желателен или нет²⁹¹. Субъективная природа оценки, с его точки зрения, и диктует необходимость отличать ее от метода отнесения к ценности, обладающего, по мнению Лаппо-Данилевского, характером всеобщности. «В субъективно-исторической оценке, — писал ученый, — критерий обыкновенно берется под влиянием какой-либо субъективно-индивидуальной точки зрения — национальной, сословной, научно-цеховой (с точки зрения данного ученого направления, школы) и т. п.»²⁹². Он считал, что историк придает индивидуальности соответствующую ценность, но не подвергает саму индивидуальность, взятую вне такого отношения (как таковую) одобрению или порицанию²⁹³.

Лаппо-Данилевский писал: «Историк получает возможность установить всеобщее значение индивидуального путем отнесения его к ценности, которая получает наибольшее объективное значение, если она может быть обоснована»²⁹⁴. Обоснование же ценностей и историческую оценку отечественный методолог, как и Риккерт, относил к компетенции философии.

Операцию по обоснованию ценностей Лаппо-Данилевский называл «аксиологическим анализом», который, по его мнению, рассматривает объекты истории с иной точки зрения, нежели специально-историческое исследование, и направлен не на установление причинно-следственной связи между фактами и выяснение их значения для истории человечества, а на истолкование «ценности для нас данных объектов»; правда, историк признавал, что аксиологический анализ вынужден обращаться к историческому изучению объекта для понимания приписываемой этому объекту ценности, но рассматривал такое обращение лишь как средство для аксиологического анализа²⁹⁵. Философ, с его точки зрения, установив, например, абсолютную ценность нравственного начала, ценность научного знания, «облагораживающее» значение искусства, оценивает, исходя из этих принципов, и деятельность государства по обеспечению «свободной мысли», «свободы печати», развития искусства, считая государство «наилучшим формально-политическим условием для осуществления нравственности в человеческом обществе»²⁹⁶.

Историк, по мнению Лаппо-Данилевского, в специальных своих исследованиях не занимается обоснованием ценностей, он признает ценность государства уже обоснованной «...и только относит к такой “культурной ценности” отдельные факты», приписывая большее положительное или отрицательное значение человеку, приносящему больше пользы или больше вреда государству²⁹⁷. «Само индивидуальное, — писал мыслитель, — нельзя признать существенным вне отнесения его к какой-либо ценности... История изучает человека, поскольку он содействует (или препятствует) реализации социальных, политических ценностей и т. п.; то же самое можно сказать и про событие. Таким образом, в отнесении данного факта к данной ему культурной ценности историк-ученый получает критерий для выбора из многосложной действительности: он оценивает объект путем отнесения его к культурным ценностям, как на-

ука, нравственность и искусство, церковь и государство, социальная организация и культурный строй и т. п.»²⁹⁸.

Вместе с тем желание связать форму исторического познания с решением общенаучных задач определило иную по сравнению с немецким неокантианством трактовку Лаппо-Данилевским вопроса о соотношении истории и теории. Если Риккерт резко противопоставлял философию и историю, то русский методолог допускал, что историк может и сам приняться за обоснование ценностей, если не считает их обоснованность установленной. Правда, поскольку с неокантианской точки зрения такое занятие историка уже предполагало оперирование понятием оценки, отечественный мыслитель сразу же оговаривался, что в этом случае историк все же будет заниматься «задачей философской, логически отличной от простого отнесения к принятой уже культурной ценности, производимую историком-ученым»²⁹⁹.

Но фактически Лаппо-Данилевский не отрицал и правомерности функционирования в историческом исследовании оценочных понятий, допуская в него категорию прогресса. Он утверждал, что история может получить «совершенно особое, самостоятельное по отношению к природе значение», только если будет рассматриваться как «постоянное осуществление некоего должествования», считал, что историк относит к ценности саму цель индивидуального исторического развития³⁰⁰. «Основываясь на понятии о значении данной цели для результата, — говорил методолог, — историк судит и о степени прогрессивности или регрессивности данной эволюционной серии или ее частей, смотря по тому, реализуется ли в данном ряде фактов какая-либо... ценность или, напротив, она постепенно сходит на нет»³⁰¹. Ученый отмечал при этом, что понятие прогресса образуется «не без некоторого субъективизма», но такое его замечание было направлено не столько на дискредитацию идеи прогресса в истории, сколько служило задаче предостереечь историка от «гипостазирования» цели исторического развития³⁰².

Ход рассуждений Лаппо-Данилевского о месте категорий ценности и оценки в истории привел его к тому, что в сравнении с Риккертом он еще более субъективизирует само понятие ценности, трактуя его с субъективно-нормативных позиций. Декларируя абсолютный характер ценностей, русский мысли-

тель уже не заявлял о независимости их от человеческого сознания. Он говорил, что человек «почерпает» идею должного из собственного сознания и сам себе предъявляет нормы³⁰³. Теоретик рассматривал цель как требование субъекта, а нормативную оценку как основу «наиболее ценных наших действий»³⁰⁴.

Вместе с тем эти рассуждения привели Лаппо-Данилевского к выделению двух типов ценностного подхода в историческом исследовании — отнесению исторических фактов не только к обоснованной (или абсолютной), но и к общепризнанной ценности, — что в известной степени преодолевало антиисторизм аксиологического учения баденской школы. «Если бы историк даже располагал обоснованными ценностями, — писал методолог, — ...он еще не мог бы достигнуть научного построения исторической деятельности... Историк, пользующийся обоснованными ценностями, должен, кроме того, выяснить, в какой мере они стали исторической действительностью, т. е. в какой мере они действительно признавались той общественной группой, которую он изучает». «Следовательно, — заключал ученый, — даже при обоснованности приписываемых им культурных ценностей, историк не может устраниваться и от отнесения изучаемых им фактов к общепризнанным ценностям: лишь с последней точки зрения он будет вправе говорить о реализации данных ценностей в действительности»³⁰⁵.

Лаппо-Данилевский отмечал возможность совпадения отнесения к обоснованной и отнесения к общепризнанной ценностям. Исходя из положения, что человеческое сознание способно опознавать абсолютные ценности, он допускал также случаи, когда критерий нормативной оценки у историка и изучаемой им общественной группы оказывается общим, и по характеру этого «опознавания» различал два вида такого совпадения: совпадение абсолютной и общепризнанной ценности, согласно мыслителю, может быть, с одной стороны, неосознанным, как это имело место, с его точки зрения, в случае борьбы греков с персами или объединения Германии, «в смысле процессов, нужных для сохранения и развития общечеловеческой культуры», с другой — обоснованный критерий историка может совпадать с таким же обоснованным критерием исторического деятеля, пример чего он видел в истории Гуса и Галилея³⁰⁶. Но при это Лаппо-Данилевский отмечал необходимость разли-

чия двух типов ценностного отношения к истории. «Отнесение к обоснованной ценности, — указывал он, — требует обоснования той произвольной ценности, в отношении которой отдельным фактам приписывается известное значение, а отнесение к общепризнанной данным обществом ценности предполагает только наличность ее признания в той самой общественной группе, которая изучается историком; общепризнанная ценность, значит, может не совпадать с обоснованной и в таком смысле признается лишь относительной»³⁰⁷. Методолог говорил о необходимости сознательно проводить различие между отнесением объекта истории к обоснованной ценности от отнесения его к ценности общепризнанной «для того, кто занимается исторической работой», «а не довольствоваться простой интуицией»³⁰⁸.

Отличие двух типов ценностного подхода Лаппо-Данилевский показывал на примере возможного определения значения объединения Германии под гегемонией Пруссии. С одной стороны, говорил он, можно оценивать саму цель этого объединения и признавать «важным» или «неважным», с точки зрения абсолютной ценности, вытеснение Австрии из Германии. С другой стороны, можно не входить в оценку данной цели, а принимать во внимание то, что эта цель была общепризнанной немцами 1860-х годов, и только изучать, было ли решение Пруссии объявить войну Австрии в тот именно момент пригодным средством для достижения объединения Германии, и если да, то почему это решение действительно оказалось таким средством; с последней точки зрения, замечал теоретик, историк и будет выбирать данный факт, например решение Бисмарка о разрыве с Австрией, путем отнесения его к общепризнанной ценности — объединению Германии³⁰⁹.

Постановкой вопроса о необходимости отнесения исторических фактов к общепризнанным ценностям Лаппо-Данилевский пытался связать концепцию неокантианства с немецкой «философией жизни». Со ссылкой на В. Дильтея он писал: «Итак, отнесение к общепризнанной данной общественной группе ценности сводится прежде всего к психологическому анализу тех критериев оценки, которыми данное общество действительно руководилось или руководится для того, чтобы выяснить, какой из них оказывался общепризнанным или в большей или меньшей мере признанным... Словом, историк будет пользоваться найденным

таким образом критерием для того, чтобы с точки зрения самого общества судить о значении фактов, его касающихся»³¹⁰.

Вместе с тем, стремясь преодолеть крайности субъективизма дильтеевского метода «понимания», Лаппо-Данилевский констатировал, что с отнесением к общепризнанным (относительным) ценностям «историческую работу нельзя... признать окончательной»³¹¹. Настаивая на главенствующей роли отнесения к обоснованной ценности, он писал: «Следует заметить, однако, что историк не может ограничиться изучением одних общепризнанных ценностей... Без обоснования их такие ценности все же оказываются результатами субъективной оценки, только с тем различием, что она произведена целою группой, а не отдельною личностью; но коллективная оценка может быть гораздо более субъективной, чем личная: психический уровень массы часто бывает ниже среднего, особенно в области отвлеченной мысли; без обоснования их такие ценности, в сущности, становятся... психическими фактами; а для выбора из них историк все же будет нуждаться в критерии, на основании которого он мог бы признать их значение»³¹².

Одновременно Лаппо-Данилевский пытался сблизить свою концепцию научно-исторического знания с определенными установками методологии позитивизма. Как и некоторые историки позитивистской ориентации, методолог признавал, что момент отнесения к ценности имеет место как в истории, так и в естествознании и что можно говорить только о большей роли ценностного подхода в историческом исследовании по сравнению с исследованием естественно-научным. Однако специфика задач исторического познания и объекта исторической науки (человек изучает человеческое общество, т. е. субъектов, также способных «опознавать ценности») определяет, по мнению ученого, не только большую широту функционирующих в исторической науке ценностей, но и большую глубину проникновения в нее ценностного подхода. Если в естествознании, считал он, момент отнесения к ценности применяется «лишь к конечной его цели, а не к объектам изучения и не получает значения критерия для выбора материала», а функционируют здесь ценности только познавательного характера, то в истории к ценности относятся не только знания об объектах, а сами объекты,

притом ценность их определяется историком как с познавательной, так и с этической, эстетической и других точек зрения ³¹³.

При этом положение об отнесении исторических явлений к общепринятой ценности в методологических построениях Лаппо-Данилевского было связано и с фактическим признанием историком необходимости оценивать события прошлого с точки зрения внутренней логики их развития. А такое признание приводило методолога к выводу, что ценностный подход не единственный критерий выбора в истории. Он писал: «Понятие об историческом значении индивидуального нельзя, однако, ограничивать понятием о его ценности; ведь понятие об общепризнанной ценности уже находится в тесной связи с понятием о действительности индивидуального: историк интересуется вневременной ценностью в процессе ее реализации; а ценность тем полнее реализуется, чем более факт, в котором она воплотилась, имеет последствий»³¹⁴. Значение «собственно исторического факта» в глазах историка, по его мнению, получает лишь такой факт, которому он приписывает ценность, действительность, численность и длительность его последствий ³¹⁵.

С точки зрения Лаппо-Данилевского, понятие о «ценности» индивидуальности и ее «историческом значении» представляет собой два разных понятия: всеобщее значение факта, говорил он, можно установить лишь на основании качественного критерия — признания всеми его важности, а историческое значение определяется с учетом количественного критерия — численности его последствий, повлиявших на развитие человечества ³¹⁶. Так, личность, по мнению мыслителя, может иметь «очень большую ценность» и почти не иметь исторического значения, и напротив, не особенно сама по себе ценная личность при определенных обстоятельствах может получить сравнительно большое историческое значение; если в первом случае он ограничивался констатацией такой возможности, то применительно ко второму приводил характерный пример Робеспьера ³¹⁷. Отечественный ученый критиковал представителей немецкого неокантианства за их пренебрежение к различию между понятиями о «всеобщем значении» индивидуальности и ее «историческом значении»³¹⁸.

«Таким образом, — делал вывод Лаппо-Данилевский, — историк судит об историческом значении индивидуального не

только по ценному его содержанию, но и по его действительности, т. е. по объему влияния: принимая во внимание реализацию ценности в действительности, он получает возможность рассматривать вневременную ценность в данных условиях пространства и времени»³¹⁹. Согласно методологу, «настоящий» историк не примется за изучение индивидуального ни без признания его значения в отношении к определенной культурной ценности, ни без наличности реальных последствий такого факта для развития человеческого общества ³²⁰. «Лишь комбинируя понятие о ценности и действительности индивидуального, — писал он, — историк получает основание признать за ним историческое значение; такое сочетание и служит ему в качестве критерия выбора исторических фактов»³²¹.

Так, Лаппо-Данилевский в определенном смысле преодолевал абстрактный подход к прошлому немецких неокантианцев, по сути дела, игнорировавших вопрос о зависимости человеческих ценностей от пространственно-временных координат истории, и продолжал отстаивать право исторической науки на исследование причинно-следственной обусловленности и взаимосвязанности исторического процесса ³²².

Осознание же необходимости каузального анализа в историческом исследовании по существу означало признание включенности в арсенал приемов освоения историком своего объекта методов общенаучного характера. «В логическом отношении, сознательно различая номотетическую точку зрения от идиографической, — отмечал Лаппо-Данилевский, — он <историк>, конечно, не должен смешивать их, но в действительности он может соединить их в своей работе»³²³.

Однако и генерализация, и поиск причинно-следственных связей играли в теории исторического познания Лаппо-Данилевского второстепенную роль. Так, допуская в построении историка «типологические», даже «номотетические» обобщения, он утверждал, что эти обобщения не составляют цели исторической науки ³²⁴. По его мнению, историк обращается к общим понятиям лишь «для индивидуализирующего понимания действительности»³²⁵. А изучение каузальных связей в истории подчинялось методологом базирующемуся на абсолютных нормах ценностному отношению к ней, поскольку именно отнесение к ценности, на его взгляд, «дает основание выбрать из

многообразия действительности те факты, которые затем подлежат изучению с причинно-следственной точки зрения»³²⁶.

В доказательство первичности аксиологического рассмотрения фактов прошлого по отношению к каузальному их исследованию Лаппо-Данилевский приводил следующие аргументы: с одной стороны, говорил он, если исходить из причины, «то уже надо иметь критерий для выбора того, а не иного факта», с другой — число последствий данного факта также не дает историку основания для объективного его рассмотрения³²⁷. Лаппо-Данилевский писал: «Каждый факт — причина — в сущности, порождает беспредельное число последствий. Аустерлицкое сражение, например, вызвало массу сотрясений воздуха; каждая новая волна воздуха являлась одним из следствий, порожденных выстрелами; историк не принимает, однако, во внимание, этих последствий: он интересуется Аустерлицким сражением с точки зрения его влияния на судьбу Священной Римской империи, на падение политического значения Австрии, на русско-французские отношения и т. п. — словом, он выбирает из бесчисленного множества следствий данного факта те, которые уже имеют (или имели), по его мнению, всеобщее значение; а для такого выбора он, очевидно, уже должен пользоваться некоторым критерием»³²⁸. В противном случае, отмечал методолог, без признания ценности индивидуального «выбор фактов будет иметь случайный характер»³²⁹. Но понимание природы ценности самим историком обусловило субъективный по своей сути характер выбора исторических фактов в его методологической концепции.

Категория общего заменялась в теоретических построениях Лаппо-Данилевского субъективно-идеалистическим понятием об историческом целом, к образованию которого, с его точки зрения, собственно, и стремится идиографическое построение истории, приближаясь к пониманию конкретной действительности, а не удаляясь от нее, подобно номотетическому построению³³⁰. Это понятие явилось резюмирующим в концепции мыслителя.

По Лаппо-Данилевскому, понятие об историческом значении индивидуального предполагает изучение исторической связи фактов с вызвавшими их причинами или порожденными ими следствиями и служит историку не только для упрощения, но и для объединения его представлений о прошлом: образуя понятие об исторической индивидуальности в отношении ее к

историческому значению, говорил он, историк достигает «обозримости» своих представлений о ее разрозненных чертах и устанавливает «те важнейшие центральные факты, с высоты которых он может усмотреть группы и ряды второстепенных фактов и разместить их вокруг главных»³³¹. Вместе с этим, объединяя представления историка о действительности, понятие об исторической связи между смежными фактами, по мнению методолога, позволяет осмыслить историю как непрерывный процесс³³². Таким образом, говорил он, историк образует понятие о целом, признавая, «что каждый отдельно взятый исторический объект входит в одно целое, вместе с другими такими же объектами, и что каждый из них тем самым определяется в своей индивидуальности как незаменимая часть целого»³³³.

Лаппо-Данилевский считал, что понятие о целом как некотором единстве многообразия неразрывно связано с понятием об индивидуальном, так как своеобразное целое, по его мнению, является уже чем-то индивидуальным, а с исторической точки зрения единство такого целого существует лишь в данной индивидуальности; при этом он рассматривал целое в его отношении к своим индивидуальным частям, а не к другим целым³³⁴. В то же время мыслитель противопоставлял понятия «целое» и «общее».

Он писал: «Из того, что историк вставляет индивидуальный объект в качестве части целого в такое целое, также индивидуальное, вовсе не следует, что он подчиняет представление об этом индивидуальном объекте общему понятию; историк не выделяет мысленно свойства или процессы изучаемых им объектов, а, напротив, рассматривает последние как индивидуальные части данного целого; каждая из них становится именно частью данного целого лишь в той мере, в какой она незаменима другой, и, следовательно, получает в нем свое индивидуальное значение»³³⁵. С его точки зрения, в качестве индивидуальности, как «единичное в своем роде целое», частями которого историк признает отдельные «исторические» народы, может рассматриваться все «культурное» человечество³³⁶.

«Предельным» понятием о целом у Лаппо-Данилевского выступает понятие о «мировом целом», которое представлялось ему целостной действительностью, части которой можно, в свою очередь, называть относительными целыми³³⁷. Историк же, по его словам, «сосредоточивает свое внимание лишь на той части

мирового целого, которую мы называем человечеством, и преимущественно изучает ее в качестве относительного целого, выясняя, какое именно реальное значение каждая его часть имела или имеет в историческом процессе его образования»³³⁸.

С точки зрения исторического целого, которым для историка будет являться история человечества, он и может, по Лаппо-Данилевскому, установить историческое значение каждого отдельно взятого факта. «Вообще, — писал методолог, рассуждая об истории человечества, — историк прежде всего характеризует его некоторым реальным единством его состава: человечество состоит из индивидуальностей, способных сообщать и познавать абсолютные ценности, что и может объединять всех; по мере объединения своего сознания человечество все более становится “великой индивидуальностью”; она стремится опознать систему абсолютных ценностей и осуществить ее в истории... Такое воздействие предполагает, однако, наличность цели, общей для всех по своему значению, существование общей воли и проявление объединяющей и организованной деятельности членов целого, создающих культуру человечества»³³⁹. С такой точки зрения, по его мнению, историк и конструирует исторический процесс, в котором человечество приобретает все большее историческое значение благодаря постепенно возрастающему единству человеческого сознания³⁴⁰.

Учение Лаппо-Данилевского об историческом целом отвечало его религиозному миронастроению. В известной мере такое учение отразило растущее влияние отечественной религиозной философии на историографию России. Вместе с тем оно проецировалось и на разделяемые мыслителем социально-политические идеи. В условиях возрастания революционной борьбы концепция о возрастающем единстве человеческого сознания была созвучна призывам к единению и социальному миру и направлена против марксистской теории классовой борьбы.

Эти идеи проявлялись и в конкретно-исторических трудах Лаппо-Данилевского. Так, утверждая, что идея государства носит нормативный характер и «содержит понятие о том отношении, которое должно быть между государством и подданными», он усматривал прогрессивное развитие этой идеи в осознании русскими людьми необходимости единения с абсолютной монархией³⁴¹.

О неразрывной связи мировоззрения и исследовательской практики Лаппо-Данилевского говорили его коллеги и ученики. А. Е. Пресняков, к примеру, писал даже, что «его специальные работы по русской истории служили экспериментальными этюдами к существенным теоремам исторического анализа и построения»³⁴².

В общем плане уже констатировалось, что центр научных интересов Лаппо-Данилевского в неокантианский период его творчества постепенно перемещается из области исследования истории учреждений в сферу истории идей. Показательным в этом отношении явился анализ ученым в 1912 году концепции исторического процесса В. О. Ключевского, в котором, по существу, единственная претензия к концепции Ключевского свелась к тому, что в ней не было уделено «особого места для “идей”»³⁴³.

Из общеметодологических построений Лаппо-Данилевского непосредственно вытекала его теория исторического источника. Под историческим источником ученый понимал «реализованный продукт человеческой психики, пригодный для изучения фактов с историческим значением», отмечая при этом, что не всякий «след» мысли и действия человека можно назвать историческим источником, а «лишь такой след, который нужен для восстановления факта, историческое значение которого предпосылается или уже обосновано»³⁴⁴. А поскольку понятие исторического значения было производным у него, прежде всего, от категории ценности, то, следовательно, выступает или не выступает что-либо в качестве источника, устанавливалось аксиологическим способом. Под критикой источника он также понимал «только теоретическое отнесение данного объекта к общезначимой ценности», подразделяя ее на научную, моральную и эстетическую, «смотря по тому, относит ли субъект изучаемый им объект к научной, моральной или эстетической ценности, т. е. будет ли он судить о нем с точки зрения истины, добра или красоты»³⁴⁵.

Вместе с тем сравнение конкретных трудов по близкой тематике, созданных Лаппо-Данилевским в позитивистский и неокантианский периоды его деятельности, позволяет сделать заключение об их сходстве. Так, выводы работ историка о внутренней политике Екатерины II, написанных в 1898 и 1911 годах, по существу, одни и те же — о заботе императрицы о благе народа, осуществляемой на основе принципов разумной политики сообразно исторической обстановке. Более сдержанной становится, пожалуй, лишь оценка Екатерины³⁴⁶.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Таким образом, отечественная неокантианская историческая мысль не смогла примирить свое объяснение специфики исторического исследования со сложившимися представлениями о характере научного знания. Она не преодолела кризис в российской историографии. Идеино-политические взгляды русских историков-неокантианцев, в известной мере, были ориентированы на социальное торможение. Вместе с тем вряд ли можно согласиться с мнением Р. А. Киреевой, что в отличие от гегельянства и позитивизма, сыгравших в России прогрессивную роль, «неокантианство не несло в себе прогрессивного заряда — это был регресс, характерный для начавшегося общего кризиса буржуазной науки»¹.

Даже снимая в своих построениях положение немецких теоретиков о трансцендентном характере ценностей, представители отечественной неокантианской исторической науки не оставляли попыток обоснования идеи о достижении общечеловеческих идеалов и норм. Трактовка же специфики исторического познания в неокантианской историографии России была более сбалансирована с общенаучными методами и формой знания, по сравнению с интерпретацией такой специфики в баденской школе. Удачные подходы русских историков-неокантианцев к решению проблем методологии истории были связаны с их положениями о месте ценностного подхода в познании истории и различии двух типов ценностного отношения, о связи аксиологического и общенаучного способов освоения прошлого, о роли обобщающей работы в историческом исследовании и взаимовлиянии философии и исторической науки, с разработкой понятия исторического целого. Превратив в своих трудах методологию истории в самостоятельную отрасль исторического знания, представители отечественной неокантианской исторической мысли содействовали осознанному обращению историков к сложным методологическим вопросам своей науки и тем самым повышению теоретического уровня науки истории. Работа неокантианской историографии России по осмыслению гносеологических и логических проблем исторической науки значима и потому, что в отличие от немецких неокантианцев,

являвшихся философами, ее проводили ученые, интересы которых были непосредственно направлены на изучение конкретной исторической действительности.

Кризис в русской исторической мысли представлял собой не только ломку ее методологических основ. Он знаменовал развитие исторической науки. Исследователи этого кризиса отмечали, что в российской историографии имело место определенное расширение проблематики исследований, введение в научный оборот новых источников и совершенствование техники обработки исторических документов, что историки в условиях кризиса вносили известный вклад в изучение того или иного конкретно-исторического вопроса². Ученые признают особенно большую научную значимость творчества Лаппо-Данилевского. Они обращают внимание на достижения историка в области историографии, связанные с мастерством исторического анализа и тонкостью источниковедческих приемов Лаппо-Данилевского, отмечают, что он был единственным в дореволюционной России, кто попытался осмыслить историю исторической науки по направлениям, признают большие заслуги историка в разработке комплекса вопросов теоретического и конкретно-исторического источниковедения³.

Вместе с тем главным проявлением развития отечественной исторической мысли в условиях ее кризиса стало оформление методологии истории в самостоятельную дисциплину. Устойчивые позитивистские традиции в русской историографии и своеобразие социально-политической ситуации в России 1905—1917 годов определяли активные поиски историками путей преодоления методологического кризиса. Разноречивое же восприятие учеными этой ситуации и усиливающееся влияние на них религиозно-мистической философии обуславливали расхождение представителей отечественной исторической мысли в понимании способов выхода из такого кризиса.

При всей важности воздействия общественных процессов на идейно-политические взгляды историков, развертывание методологического кризиса в русской исторической науке и ее поиски путей преодоления кризиса в дооктябрьский период определялись, прежде всего, внутренней логикой движения самой науки. Большинство отечественных историков в этот период признавали целью исторической науки постижение объек-

тивной истины, рационалистическую природу способов такого постижения, а объясняя специфику исторического познания посредством противопоставления его открытию законов и обобщениям, все же не сводили науку историю только к описательной форме. Однако мировая война и революционные события семнадцатого года не только видоизменили характер поисков выхода из своего кризиса историографии России, но и способствовали перемещению доминирующего влияния на развитие русской исторической мысли к факторам социально-политическим, обусловив ее вступление в новый этап кризиса.

ПРИМЕЧАНИЯ

К главе I

¹ См.: Петрушевский Д. Тенденции современной исторической науки // Образование. 1989. № 5—6; Виппер Р. Несколько замечаний о теории исторического познания // Виппер Р. Две интеллигенции и другие очерки: Сб. ст. и публичных лекций, 1900—1912. М., 1912.

² См.: Виппер Р. Указ. соч. С. 26, 28; Петрушевский Д. Указ. соч. С. 73—74, 80.

³ См.: Виппер Р. Указ. соч. С. 27—28; Петрушевский Д. Указ. соч. С. 80.

⁴ См.: Виппер Р. Указ. соч. С. 26; Петрушевский Д. Указ. соч. С. 73.

⁵ См.: Виппер Р. Указ. соч. С. 57.

⁶ Петрушевский Д. Указ. соч. С. 73.

⁷ См.: Виппер Р. Указ. соч. С. 28; Петрушевский Д. Указ. соч. С. 73—74.

⁸ См.: Проблемы идеализма. М., 1902. С. VIII—IX.

⁹ См.: Спекторский Е. Очерки по философии общественных наук. Варшава, 1907. Вып. 1. С. VII; Логос. М., 1910. Кн. 1. С. 5, 7.

¹⁰ См.: Бердяев Н. *Sub specie aeternitatis*. СПб., 1907. С. 2; Его же. *Философия свободы*. М., 1911. С. 5—6, 21.

¹¹ См.: Бердяев Н. *Sub specie aeternitatis*. С. 436—437; Его же. *Философия свободы*. С. 21.

¹² См.: Хвостов М. К вопросу о задачах истории // Сб. ст., посвященных Василию Осиповичу Ключевскому. М., 1909. С. 793—794.

¹³ См.: Виппер Р. Кризис исторической науки. Казань, 1921. С. 15—23.

¹⁴ См.: Виппер Р. Очерки теории исторического познания. М., 1911. С. 10—11.

¹⁵ См.: Там же; Логос. С. 13—14; Спекторский Е. Указ. соч. С. VII.

¹⁶ См.: Виппер Р. Кризис исторической науки. С. 13.

¹⁷ См.: Ладыженский А. М. Кризис современной культуры и его отражение в новейшей философии. Ростов н/Д, 1924. С. 3, 9—10.

¹⁸ Виппер Р. Кризис исторической науки. С. 3.

¹⁹ См.: Виппер Р. Гибель европейской культуры. М., 1918. С. 3, 70—75; Его же. Кризис исторической науки. С. 29.

²⁰ См.: Тарле Е. Очередные задачи // Анналы. 1922. № 1. С. 5—11.

²¹ См.: Там же. С. 8, 12—14.

²² Там же. С. 18—19.

²³ См.: Букшпан Я. М. Непреодоленный рационализм // Освальд Шпенглер и Закат Европы. М., 1922. С. 93.

²⁴ См.: Виппер Р. Гибель европейской культуры. С. 78—79.

²⁵ См.: Карсавин Л. П. Введение в Историю: (Теория истории). Пб., 1920. С. 12—29.

²⁶ См.: Невский В. Нострадамусы XX века // Под знаменем марксизма. 1922. № 4. С. 98—99; Покровский М. Проф. Р. Виппер о кризисе исторической науки // Там же. № 3. С. 34.

²⁷ См.: Невский В. Указ. соч. С. 95—98; Преображенский П. Ф. Философия как служанка богословия // Печать и революция. 1922. Кн. 6. С. 70.

²⁸ См.: Покровский М. Указ. соч. С. 34.

²⁹ См.: Ваганян В. Ученый мракобес // Под знаменем марксизма. 1922. № 3. С. 44; Воронский А. Старческое слабоумие // Печать и революция. 1921. Кн. 2. С. 27—28.

³⁰ См.: Воронский А. Указ. соч. С. 28, 31.

³¹ См.: Коган П. С. Начала // Печать и революция. 1922. Кн. 2. С. 384. Рец. на журнал: Начало. 1921. № 3. Пб., 1921.

³² См.: Адоратский В. [Рецензия] // Печать и революция. 1922. Кн. 6. С. 239. Рец. на кн.: Франк С. Л. Очерк методологии общественных наук. М., 1922; Невский В. Указ. соч. С. 97; Фридлянд Ц. [Рецензия] // Печать и революция. 1924. Кн. 4. С. 231. Рец. на кн.: Ладыженский А. М., проф. Кризис современной культуры и его отражение в новейшей философии. Ростов н/Д, 1924.

³³ См.: Адоратский В. Указ. соч. С. 238—239; Невский В. Указ. соч. С. 100.

³⁴ См.: Петрушевский Д. М. Очерки из экономической истории средневековой Европы. М.; Л., 1928. С. 19—61.

³⁵ См.: Диспут о книге Д. М. Петрушевского // Историк-марксист. 1928. Т. 8.

³⁶ См.: Там же. С. 88; Покровский М. Н. «Новые» течения в русской исторической литературе // Историк-марксист. 1928. Т. 7. С. 10.

³⁷ См.: Диспут о книге Д. М. Петрушевского. С. 79, 90, 105, 107, 112, 115.

³⁸ См.: Там же. С. 96, 102, 124.

³⁹ Там же. С. 91.

⁴⁰ См.: Там же.

⁴¹ См.: Рубинштейн Н. Классовая борьба на историческом фронте. Иваново-Вознесенск, 1931. С. 9—10, 24—25, 53, 55.

⁴² См.: Там же. С. 13—17.

⁴³ См.: Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941. С. 482.

⁴⁴ См.: Данилов А. И. Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков // Средние века. М., 1955. Вып. VI. С. 301, 307.

⁴⁵ См.: Алпатов М. А. Кризис русской буржуазной медиевистики в начале XX века // Проблемы историографии: Тез. и автореф. докл. и сообщ. на межвуз. конф. Воронеж, 1960. С. 23.

⁴⁶ См.: Там же. С. 24, 26—27.

⁴⁷ См.: Там же. С. 23, 26.

⁴⁸ См.: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. 3. С. 239—278.

⁴⁹ См.: Там же. С. 269.

⁵⁰ Хмылев Л. Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной историографии конца XIX — начала XX в. Томск, 1978. С. 170.

⁵¹ См.: Нечухрин А. Н., Рамазанов С. П. Конференция по методологии, историографии и источниковедению // Вопросы истории. 1982. № 10. С. 113.

⁵² См., напр.: Сахаров А. М. Историография истории СССР: Досоветский период. М., 1978. С. 15; Ковальченко И. Д., Шикло А. Е. Кризис русской буржуазной исторической науки в конце XIX — начале XX века // Вопросы истории. 1982. № 1. С. 24.

⁵³ См.: Гутнова Е. В. Историография истории средних веков. М., 1974. С. 240; Данилов А. И. Указ. соч. С. 301; Дубровский А. М., Соловьев Е. А. Всесоюзная историографическая конференция //

История СССР. 1980. № 2. С. 228; Могильницкий Б. Г. Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX в. — начала 900-х годов. Томск, 1969. С. 294; Нечухрин А. Н. К вопросу о сущности кризиса русской либеральной историографии конца XIX — начала XX в. // Исследования ученых — на службу пятилетке: Тез. докл. науч.-практ. конф. Гродно, 1980. Ч. 2. С. 117—118; Сафронов Б. Г. [Рецензия] // Вопросы истории. 1980. № 11. С. 138. Рец. на кн.: Хмылев Л. Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной историографии конца XIX — начала XX в. Томск, 1978; Хмылев Л. Н. Указ. соч. С. 8; Шофман А. С. Михаил Михайлович Хвостов. Казань, 1979. С. 46, 104—105.

⁵⁴ См.: Алпатов М. А. Указ. соч. С. 23; Искендеров А. А. Основные черты и этапы кризиса буржуазной исторической науки // Новая и новейшая история. 1980. № 5. С. 47—48; Ковальченко И. Д., Шикло А. Е. Указ. соч. С. 32—34; Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 3. С. 244; Сарбей В. Г. Очерки по методологии и историографии истории Украины (период капитализма). Киев, 1989. С. 35; Сахаров А. М. Указ. соч. С. 209.

⁵⁵ См.: Слонимский А. Г. Кризисные явления или кризис буржуазной исторической науки: критерии для определения // Вопросы методологии истории, историографии и источниковедения. Томск, 1984. С. 162.

⁵⁶ См.: Хмылев Л. Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной историографии конца XIX — начала XX в.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Л., 1985. С. 17.

⁵⁷ См.: Слонимский А. Г. Указ. соч. С. 164.

⁵⁸ См.: Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 3. С. 244.

⁵⁹ См.: Сахаров А. М. Указ. соч. С. 211, 228.

⁶⁰ См.: Ковальченко И. Д., Шикло А. Е. Указ. соч. С. 33—34.

⁶¹ См.: Хмылев Л. Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной историографии конца XIX — начала XX в.: Автореф. дис. д-ра ист. наук. Л., 1985. С. 36—37.

⁶² См.: Ковальченко И. Д., Шикло А. Е. Указ. соч. С. 33.

⁶³ См.: Хмылев Л. Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной историографии конца XIX — начала XX в.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. С. 3, 33.

⁶⁴ См.: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1966. Т. 4. С. 139.

⁶⁵ См.: Алексеева Г. Д. Октябрьская революция и историческая наука в России (1917—1923 гг.). М., 1968. С. 205; Историография истории СССР: Эпоха социализма. М., 1982. С. 72, 73.

⁶⁶ См.: Алаторцева А. И. Перестройка исторической науки на марксистско-ленинских принципах (20-е — начало 30-х годов) // Марксистско-ленинская мысль в СССР: Исторический путь и проблема его исследования. Киев, 1978. С. 187—203; Городецкий Е. Н. Советская историография Великого Октября (1917 г. — середина 30-х годов). М., 1981. С. 143.

⁶⁷ См.: Алаторцева А. И. Указ. соч. С. 196—197; Алексеева Г. Д. Указ. соч. С. 207; Историография истории СССР: Эпоха социализма. С. 72.

⁶⁸ См.: Алаторцева А. И. Указ. соч. С. 196—197; Алексеева Г. Д. Указ. соч. С. 207; Городецкий Е. Н. Указ. соч. С. 163, 165—166; Историография истории СССР: Эпоха социализма. С. 75.

⁶⁹ См.: Историография истории СССР: Эпоха социализма. С. 73.

⁷⁰ При характеристике позиций участников Круглого стола «Понятие кризиса исторической науки», организованного Научным Советом АН СССР по историографии и источниковедению 14 декабря 1989 г. в Москве, использованы собственные записи автора.

⁷¹ См.: Искендеров А. А. Историческая наука на пороге XXI века // Вопросы истории. 1996. № 4. С. 11, 30, примеч.

⁷² См.: Там же. С. 7, 8, 15.

⁷³ Сведения о происхождении и применении термина «кризис», а также библиографию вопроса см.: Вайнштейн О. Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX—XX вв. Л., 1979. С. 88—90.

⁷⁴ См.: Ленин В. И. Политический кризис и провал оппортунистической тактики // Полн. собр. соч. Т. 13. С. 348; Его же. Материализм и эмпириокритицизм // Там же. Т. 18. С. 266; Его же. «Сожаление» и «стыд» // Там же. Т. 20. С. 245; Его же. Политические партии в России // Там же. Т. 21. С. 276; Его же. Мертвый шовинизм и живой социализм // Там же. Т. 26. С. 102; Его же. Уроки кризиса // Там же. Т. 31. С. 324.

⁷⁵ См.: Ленин В. И. Прикрытие социал-шовинистской политики интернационалистскими фразами // Полн. собр. соч. Т. 27. С. 84.

⁷⁶ См.: Ленин В. И. Политический кризис и провал оппортунистической тактики. С. 364; Его же. Вождь ликвидаторов о ликвидаторских условиях единства // Полн. собр. соч. Т. 24. С. 309; Его же. Мертвый шовинизм и живой социализм. С. 102.

⁷⁷ См.: Словарь иностранных слов. 10-е изд., стер. М., 1983. С. 260.

⁷⁸ См.: Левинтов Н. Г. Социально-философское содержание категории «кризис» // Философские науки. 1980. № 1.

⁷⁹ См.: Маркс К. Капитал. Т. 1 // Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 124; Его же. Теория прибавочной стоимости. Ч. 2. // Там же. Т. 26. С. 571.

⁸⁰ См.: Левинтов Н. Г. Указ. соч. С. 40.

⁸¹ См.: Там же. С. 41.

⁸² См.: Там же. С. 41—42.

⁸³ См.: Там же. С. 42.

⁸⁴ См.: Там же.

⁸⁵ См.: Там же. С. 44—45.

⁸⁶ См.: Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974. С. 222; Антонов А. Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке. М., 1985. С. 3.

⁸⁷ См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 210.

⁸⁸ О факторах, определяющих устойчивость развития научного знания, см.: Антонов А. Н. Указ. соч. С. 11—12; Ворожцов В. П., Москаленко А. Т. Методологические установки ученого: природа и функции. Новосибирск, 1986. С. 193—218; Гайденок П. П. Эволюция понятия науки: Становление и развитие первых научных программ. М., 1980. С. 10—12; Копнин П. В. Указ. соч. С. 224—225.

⁸⁹ Ворожцов В. П., Москаленко А. Т. Указ. соч. С. 217.

⁹⁰ Миккульский С. Р., Маркова Л. А. Чем интересна книга Т. Куна «Структура научных революций»? // Кун Т. Указ. соч. С. 87.

⁹¹ См.: Ильин В. В. К вопросу о критериях научности знания // Вопросы философии. 1986. № 11. С. 71.

⁹² См.: Кун Т. Указ. соч. С. 11, 44.

⁹³ См.: Там же. С. 28, 45—46.

⁹⁴ См.: Там же. С. 60.

- ⁹⁵ См.: Там же. С. 117—118.
- ⁹⁶ См.: Там же. С. 102, 191, 199—200.
- ⁹⁷ См.: Там же. С. 123—124.
- ⁹⁸ См.: Там же. С. 119.
- ⁹⁹ См.: Там же. С. 23, 126—128.
- ¹⁰⁰ См.: Там же. С. 31.
- ¹⁰¹ См.: Там же. С. 95, 109, 124.
- ¹⁰² См.: Там же. С. 129.
- ¹⁰³ Об эволюции понятия «наука» в теоретическом и культурно-историческом контексте и трудностях определения этого понятия см.: Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956; Гайденок П. П. Указ. соч.; Ильин В. В. Указ. соч. С. 63—71.
- ¹⁰⁴ См.: Бернал Дж. Указ. соч. С. 8.
- ¹⁰⁵ См.: Методологические основы научного познания: Учеб. пособие для студентов вузов. М., 1972. С. 64; Советский энциклопедический словарь. 4-е изд. М., 1989. С. 877; Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1989. С. 393.
- ¹⁰⁶ См.: Степин В. С. Философская антропология и философия науки. М., 1992. С. 67. Подробнее об отличительных характеристиках науки см.: Ильин В. В. Критерии научности знания. М., 1989.
- ¹⁰⁷ О значении категории рациональности в методологии науки XX века и ее трактовке современной западной философией см.: Гайденок П. П. Проблема рациональности на исходе XX века // Вопросы философии. 1991. № 6; Зиневич Ю. А., Федотова В. Г. О единстве когнитивных и социальных критериев рациональности // В поисках теории развития науки: Очерки западноевропейских и американских концепций XX века. М., 1982; Порус В. Н., Никифоров А. Л. Эволюция образа науки во второй половине XX века // Там же.
- ¹⁰⁸ См.: Копнин П. В. Указ. соч. С. 341—342.
- ¹⁰⁹ Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры // Вопросы философии. 1992. № 6. С. 104—105.
- ¹¹⁰ См.: Ворожцов В. П., Москаленко А. Т. Указ. соч. С. 3.
- ¹¹¹ О позиции Т. Куна в вопросе об отличии философии и науки см.: Порус В. Н., Никифоров А. Л. Указ. соч. С. 176—177.
- ¹¹² См.: Гайденок П. П. Эволюция понятия науки. С. 10.
- ¹¹³ См.: Гайденок П. П. Проблема рациональности на исходе XX века. С. 4—5.

¹¹⁴ См., напр.: Борн М. Моя жизнь и взгляды. М., 1973; Вайцзеккер К. Ф. Физика и философия // Вопросы философии. 1993. № 1.

¹¹⁵ См.: Могильницкий Б. Г. О природе исторического познания. Томск, 1978. С. 5—7.

¹¹⁶ См.: Ерофеев Н. А. Что такое история. М., 1976. С. 4—61; Могильницкий Б. Г. О природе исторического познания. С. 10—58; Его же. Введение в методологию истории. М., 1989. С. 15—20; Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 45—49.

¹¹⁷ О попытках ограничения целостного изучения истории человеческого общества, имеющих тенденцию к ликвидации исторической науки как самобытной самостоятельной дисциплины см.: Афанасьев Ю. Н. Историзм против эклектики. Французская историческая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии. М., 1980; Могильницкий Б. Г., Николаева И. Ю., Гульбин Г. К. Американская буржуазная «психоистория»: Критический очерк. Томск, 1985; Могильницкий Б. Г. Американская «психоистория»: претензии и реальность // Новая и новейшая история. 1986. № 1.

¹¹⁸ См.: Ковальченко И. Д. Указ. соч. С. 44.

¹¹⁹ О социокультурной обусловленности естественно-научного знания см.: Зотов А. Ф. Диалектика развития науки, ее ценностные установки и познавательные схемы // Вопросы философии. 1976. № 1; Казютинский В. В., Степин В. С. Социокультурные факторы динамики научного знания // Там же. 1988. № 7; Мамчур Е. А. Социокультурная детерминация научного познания // Там же. 1987. № 7; Ее же. Проблема социокультурной детерминации научного знания. М., 1987; Степин В. С. Указ. соч.

¹²⁰ Могильницкий Б. Г. О природе исторического познания. С. 7.

¹²¹ См.: Кун Т. Указ. соч. С. 216.

¹²² См., напр.: Becker C. Everyman His Own Historian. Essey on history and politics. Chicago, 1966; Berlini. Historical Inevitability. London, 1959. О влиянии современности на историческое исследование см. также: Иванов В. В. Соотношение истории и современности как методологическая проблема: Очерки по марксистско-ленинской методологии исторического исследования. М., 1973.

¹²³ См.: Carr E. H. What is history? London, 1965. P. 78—79; Commager H. S. The Study of History. Columbus; Ohio, 1966. P. 65—

71; Gawronsky D. V. History: Meaning and Method. Iowa city, Iowa, 1967. P. 16—17; Marwick A. The nature of history. New York, 1971. P. 129—130; Meilandg. W. Scepticism and historical knowledge. New York, 1965. P. 185—187.

¹²⁴ О социальных функциях исторической науки см.: Могильницкий Б. Г. О природе исторического познания. С. 187—231.

¹²⁵ Об особенностях активности субъекта в историческом познании см.: Иванов Г. М., Коршунов А. М., Петров Ю. В. Методологические проблемы исторического познания. М., 1981. С. 48—65.

¹²⁶ См.: Ковальченко И. Д. Указ. соч. С. 4—5; Сахаров А. М. Методология истории и историография. М., 1981. С. 143.

¹²⁷ Ковальченко И. Д., Шикло А. Е. Указ. соч. С. 24.

¹²⁸ См.: Сахаров А. М. Методология истории и историография. С. 144.

¹²⁹ См.: Виппер Р. Кризис исторической науки. С. 15.

¹³⁰ См.: Нечухрин А. Н. Смена парадигм в российской историографии всеобщей истории (80-е гг. XIX в. — 1917 г.): Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Минск, 1993. С. 25, 27, 30, 37, 38—39, 40, 45.

¹³¹ Характеристику понятия «научно-исследовательская программа» см.: Гайденок П. П. Эволюция понятия науки. С. 9—12.

¹³² Саму методологию истории Б. Г. Могильницкий точно определяет как «научную дисциплину, изучающую природу, методы и принципы исторического познания». (См.: Могильницкий Б. Г. О содержании понятия «методология истории» // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1976. Вып. XI. С. 15.)

¹³³ См.: Ковальченко И. Д., Шикло А. Е. Указ. соч. С. 33—34.

К главе II

¹ Общую характеристику позитивистской философии истории и оценку ее значения для развития исторической науки см.: Гутнова Е. В. Место и значение буржуазной позитивистской историографии второй половины XIX в. в развитии исторической науки // Средние века. М., 1964. Вып. 25; Журавлев Л. А. Позитивизм и проблема исторических законов. М., 1980; Зонов В. Т. Основные принципы историко-социологической концепции «первого пози-

тивизма» // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1974. Вып. 9; Кон И. С. Позитивизм в социологии: Исторический очерк. Л., 1964; Нечухрин А. Н. Основные элементы позитивистской парадигмы истории: (На материалах отечественной историографии) // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1994. Вып. 21; Шкуринов П. С. Позитивизм в России XIX века. М., 1980.

² См.: Хмылев Л. Н. Проблемы методологии истории в русской буржуазной историографии конца XIX — начала XX в. Томск, 1978. С. 99.

³ См.: Гутнова Е. В. Историография истории средних веков (середина XIX в. — 1917 г.). М., 1974. С. 239—240.

⁴ См.: Степин В. С. Философская антропология и философия науки. М., 1992. С. 179.

⁵ См.: Петрушевский Д. Тенденции современной исторической науки // Образование. 1899. № 5—6. С. 80.

⁶ См.: Виппер Р. Две интеллигенции и другие очерки // Сб. ст. и публичных лекций, 1900—1912. М., 1912. С. 26—29.

⁷ Характеристику антипозитивистской реакции в отечественной философской мысли на рубеже XIX — XX вв. см.: Зонов В. Т. К характеристике антипозитивистской реакции в русской идеалистической философии конца XIX — начала XX в. // Методологические вопросы наук об обществе. Томск, 1976.

⁸ Проблемы идеализма. М., 1902. С. VII.

⁹ См.: Там же. С. VIII—IX.

¹⁰ Там же. С. IX.

¹¹ См.: Там же. С. VIII—XI.

¹² См.: Айхенвальд Ю. Проблемы идеализма // Вопросы философии и психологии. 1903. Кн. 67 (II). С. 340.

¹³ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Основные принципы социологической докторины О. Конта // Проблемы идеализма. М., 1902. С. 404—408, 423—427, 435—436.

¹⁴ См.: Там же. С. 409—410, 428, 456—457, 476, 489.

¹⁵ См.: Там же. С. 394—395.

¹⁶ См.: Там же. С. 404—406, 448, 489.

¹⁷ См.: Там же. С. 407.

¹⁸ Там же. С. 489.

¹⁹ См.: Там же. С. 414, 485—486.

²⁰ Кареев Н. И. Историко-теоретические труды А. С. Лаппо-Данилевского // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 118.

²¹ См.: Виппер Р. Указ. соч. С. 28.

²² См.: Тарле Е. В. Политика и религиозная мысль на Западе // Мир Божий. 1903. № 10. С. 86.

²³ См.: Хвостов В. М. Науки об общем и науки об индивидуальном // Вопросы философии и психологии. 1910. Кн. III (103). С. 340—341.

²⁴ См.: Там же. С. 340, 344; Хвостов В. М. Теория исторического процесса: Очерки по философии и методологии истории: Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. М., 1914. С. 141—142.

²⁵ Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 38.

²⁶ Об эволюции теоретико-методологических взглядов В. П. Бузескула, А. К. Дживелегова, Н. А. Рожкова, М. И. Ростовцева, Е. В. Тарле, М. М. Хвостова см.: Нечухрин А. Н. Смена парадигм в русской историографии всеобщей истории (90-е гг. XIX в. — 1917 г.). Гродно, 1992. Деп. в ИНИОН РАН 22.02.1993 № 47748; Его же. Смена парадигм в русской историографии всеобщей истории (80-е гг. XIX в. — 1917 г.): Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Минск, 1993.

²⁷ Тарле Е. В. И. В. Лучинский: К пятидесятилетию его научно-литературной деятельности // Голос минувшего. 1914. № 1. С. 61.

²⁸ О месте позитивистской теории в исторической мысли Франции и Англии конца XIX — начала XX в. см.: Вайнштейн О. Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX—XX вв. Л., 1979. С. 12—26, 51—61.

²⁹ Сафронов Б. Г. Историческое мировоззрение Р. Ю. Виппера и его время. М., 1976. С. 33, 36—37.

³⁰ См.: Там же. С. 157, 162.

³¹ См.: Виппер Р. Указ. соч. С. 262—264, 277—278.

³² Там же. С. 209.

³³ См.: Виппер Р. Очерки теории исторического познания. М., 1911. С. 13—14.

³⁴ Там же. С. 72.

³⁵ См.: Там же. С. 47.

³⁶ См.: Виппер Р. Две интеллигенции и другие очерки. С. 278.

³⁷ См.: Виппер Р. Очерки теории исторического познания. С. 14.

³⁸ Виппер Р. Две интеллигенции и другие очерки. С. 141—142.

- ³⁹ Там же. С. 142.
- ⁴⁰ См.: Там же. С. 32, 143.
- ⁴¹ См.: Там же. С. 142.
- ⁴² Там же. С. 31—32.
- ⁴³ Там же. С. 28, 61.
- ⁴⁴ Там же. С. 144.
- ⁴⁵ Там же. С. 278.
- ⁴⁶ См.: Виппер Р. Кризис исторической науки. Казань, 1921. С. 17—19, 20—23.
- ⁴⁷ См.: Там же. С. 28.
- ⁴⁸ См.: Там же. С. 19, 24, 26.
- ⁴⁹ Там же. С. 20.
- ⁵⁰ См.: Там же. С. 15, 17.
- ⁵¹ См.: Сафронов Б. Г. Указ. соч. С. 193—197; Виппер Р. Ю. Древний Восток и эгейская культура: Пособие к университетскому курсу. М., 1913.
- ⁵² См.: Хмылев Л. Н. Указ. соч. С. 72.
- ⁵³ См.: Сеницын О. В. Соотношение истории и теории в русской буржуазной неокантианской историографии периода империализма: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 1983. С. 20.
- ⁵⁴ См.: Вайнштейн О. Л. Историография средних веков. М.; Л., 1940. С. 321.
- ⁵⁵ См.: Алпатов М. А. Кризис русской буржуазной медиевистики в начале XX века // Проблемы историографии. Воронеж, 1960. С. 26—27; Сеницын О. В. Неокантианская методология истории в русской буржуазной историографии конца XIX — начала XX в. // Вопросы методологии истории, историографии и источниковедения. Томск, 1984. С. 169; Хмылев Л. Н. Указ. соч. С. 72.
- ⁵⁶ См.: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. 3. С. 260—262, 267; Сеницын О. В. Неокантианская методология истории в русской буржуазной историографии конца XIX — начала XX в. С. 169; Хмылев Л. Н. Указ. соч. С. 72.
- ⁵⁷ Алексеев В. А. Великий Октябрь и кризис буржуазной позитивистской социологии в России // Философско-методологические проблемы общественного развития. М., 1979. С. 134; Могильницкий Б. Г. Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX в. — начала 900-х годов. Томск, 1969. С. 175; Нечухрин А. Н. Смена парадигм в российской историографии всеобщей истории. С. 18,

45; Хмылев Л. Н. Указ. соч. С. 14; Шофман А. С. Михаил Михайлович Хвостов. Казань, 1979. С. 62.

⁵⁸ Тевсадзе Г. В. Кантианство и неокантианство // Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. Калининград, 1978. Вып. 3. С. 99.

⁵⁹ Критику неокантианской методологии истории см.: Кон И. С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959; Григорьян Б. Т. Неокантианство. М., 1962; Вайнштейн О. Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX—XX вв.; Рамазанов С. П. Категория ценности в теории исторического познания Г. Риккерта // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1982. Вып. 16. Обсуждение поставленной неокантианской проблемы ценности и вопроса о месте и роли ценностного подхода в историческом познании см.: Проблема ценности в философии. М.; Л., 1966; Дробницкий О. Г. Мир сживших предметов: Проблема ценности и марксистская философия. М., 1967; Гулыга А. В. Эстетика истории. М., 1974; Его же. Искусство истории. М., 1980; Пастикова О. И. Функции оценочных критериев в исторической науке: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Томск, 1974; Ее же. Аксиологический характер исторического познания // Проблемы познания и моделирования социальных явлений. Томск, 1979; Толокнов В. П. Проблема ценностного измерения событий в буржуазной философии истории // Новая и новейшая история. 1978. № 1; Шишкин А. Ф. История и нравственность: (К вопросу о детерминизме и нравственной оценке в истории) // Вопросы философии. 1978. № 4; Маркарян Э. С. Проблема ценностной характеристики предмета истории культуры // История СССР. 1979. № 6; Араб-Оглы Э. А. Европейская цивилизация и общечеловеческие ценности // Вопросы философии. 1990. № 8; Stern A. Philosophy of history and the problem of values. Mouton 8 Co-S-Gravenhage, 1962.

⁶⁰ См.: Очерки истории исторической науки в СССР. С. 260—262.

⁶¹ См.: Кареев Н. Теория исторического знания. СПб., 1913. С. 278, примеч., 283, примеч.

⁶² См.: Там же. С. 287.

⁶³ См.: Там же. С. 281—282.

⁶⁴ Дживелегов А. К. Н. И. Кареев: (К 40-летию научной деятельности) // Голос минувшего. 1913. № 12. С. 326.

⁶⁵ См.: Хмылев Л. Н. Указ. соч. С. 72.

⁶⁶ См.: Там же. С. 76, 78, 79, 81, 98, 102—103, 104.

⁶⁷ См.: Хвостов М. К вопросу о задачах истории // Сб. ст., посвященных Василию Осиповичу Ключевскому. М., 1909. С. 818.

⁶⁸ См.: Петрушевский Д. М. К вопросу о логическом стиле исторической науки. Пг., 1915. Эта работа спустя два года без изменений была перенесена во введение к 4-му изданию книги Д. М. Петрушевского «Очерки из истории средневекового общества и государства». М., 1917.

⁶⁹ См.: Петрушевский Д. М. К вопросу о логическом стиле исторической науки. С. 3—4.

⁷⁰ Там же. С. 15.

⁷¹ Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 71.

⁷² См.: Там же. С. 28, 141; Хвостов В. М. Науки об общем и науки об индивидуальном. С. 364—365.

⁷³ См.: Бубнов Н. М. О значении римской истории во всемирной / Вступ. лекция проф. Н. Бубнова, читанная в Ун-те св. Владимира 11 сент. 1891 г. Киев, 1891; Его же. Римское вече накануне падения республики / Публичная лекция в пользу голодающих, читанная проф. Бубновым в Ун-те св. Владимира 25 марта. 1892 г. Киев, 1892; Его же. Сборник писем Герберта как исторический источник (983—987): Критическая монография по рукописям. СПб., 1898—1899. Ч. 1—2; Его же. Учебные правила и программы историко-филологического факультета Императорского Ун-та св. Владимира / Сост. декан Н. Бубнов. Киев, 1911.

⁷⁴ См.: Бубнов Н. М. Пособие по методологии истории. Киев, 1911. С. 4—8.

⁷⁵ Там же. С. 18.

⁷⁶ Там же. С. 61.

⁷⁷ См.: Там же. С. 7.

⁷⁸ См.: Лаппо-Данилевский А. Материалы для плана общеобразовательного курса по истории человечества // Памятная книжка Тенишевского училища в С.-Петербурге за 1900/1 учеб. год. Год 1-й. СПб., 1902. С. 88—90.

⁷⁹ См.: Там же. С. 100.

⁸⁰ См.: Водзинский Е. И. Русское неокантианство конца XIX — начала XX века. Л., 1966. С. 7; Социологическая мысль в Рос-

сии: Очерки истории немарксистской социологии последней трети XIX — начала XX века. Л., 1978. С. 283—301.

⁸¹ См.: Франк С. Л. *Философия и жизнь*. СПб., 1910. С. 348.

⁸² См.: Данилов А. И. Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков // *Средние века*. М., 1955. Вып. 6. С. 307; Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. М., 1974. С. 419; Рубинштейн Н. Л. *Русская историография*. М., 1941. С. 452—453.

⁸³ См.: Водзинский Е. И. Указ. соч. С. 6, 9.

⁸⁴ См.: Риккерт Г. *Границы естественно-научного образования понятий: Логическое введение в исторические науки*. СПб., 1903; Его же. *Естествоведение и культуроведение*. СПб., 1903; Его же. *Философия истории*. СПб., 1908; Его же. *О понятии философии* // *Логос*. М., 1910. Кн. 1; Его же. *Науки о природе и науки о культуре: Пер. со 2-го совершенно перераб. нем. изд.* СПб., 1911; Его же. *Ценности жизни и культурные ценности* // *Логос*. М., 1912—1913. Кн. 1—2; Его же. *Два пути теории познания* // *Новые идеи в философии*. СПб., 1913. № 7; Его же. *О понятии ценностей* // *Логос*. СПб.; М., 1914. Т. 1. Вып. 1.

⁸⁵ См.: Струве П. *Тактика или идеи?: Из размышления о русской революции* // *Русская мысль*. 1907. № 8. С. 228, 230.

⁸⁶ Ленин В. И. *Еще одно уничтожение социализма* // *Полн. собр. соч.* Т. 25. С. 53—54.

⁸⁷ См.: Марковников В. *Из новейшей литературы по вопросам исторического познания* // *Вопросы философии и психологии*. 1906. Кн. 85 (V). С. 448.

⁸⁸ См.: Щепкин Е. Н. *Вопросы методологии истории*. Одесса, 1905. С. 5.

⁸⁹ См.: Пискорский В. К. *О предмете, методе и задачах науки всеобщей истории: Вступительная лекция, прочитанная в Казанском Университете 3 октября 1906 г.* Казань, 1906. С. 7.

⁹⁰ См.: Багaley Д. И. *Русская история*. М., 1914. Т. 1. С. 14—15.

⁹¹ См.: Перцов П. П. *Гносеологические недоразумения* // *Вопросы философии и психологии*. 1909. Кн. 1. С. 53.

⁹² См.: Виппер Р. *Очерки теории исторического познания*. С. 61—63; Перцев В. *Новые русские труды по теории исторической науки* // *Голос минувшего*. 1914. № 4. С. 279—282; Хвостов М. Указ. соч. С. 812—813.

⁹³ См.: Перцев В. Указ. соч. С. 279.

⁹⁴ См.: Филиппов М. Метафизика и моральная философия // Научное обозрение. 1903. № 4. С. 33—34.

⁹⁵ См.: Записки о философских прениях: (между Н. А. Бердяевым и М. Б. Ратнером) // Новый путь. 1904. № 3. С. 222.

⁹⁶ Н. И. Кареев в это время отмечал, что точки зрения Виндельбанда и Риккерта «сделались у нас очень популярными в учащейся молодежи». (Кареев Н. Теория исторического знания. С. 6).

⁹⁷ Влахопулов Б. А. Методика истории: Курс 8-го класса женских гимназий. Пб.; Киев, 1914. С. 20—21.

⁹⁸ См.: Рубинштейн М. Генрих Риккерт // Вопросы философии и психологии. 1907. Кн. 86. С. 60—61.

⁹⁹ См.: Рожков Н. Значение и судьбы новейшего идеализма в России // Вопросы философии и психологии. 1903. Кн. II. С. 318.

¹⁰⁰ См.: Ермичев А. А. Методологические основы неохристианской философии истории России начала XX века // Современные проблемы философии истории: Тез. докл. межвуз. науч. конф. Тарту, 1979. С. 185.

¹⁰¹ См.: Голосенко И. А. Неокантианские идеи в буржуазной социологии России // Философские науки. 1979. № 2. С. 62.

¹⁰² См.: Чагин Б. А. Из истории борьбы В. И. Ленина за развитие марксистской философии. М., 1960. С. 67.

¹⁰³ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. 1. СПб., 1910. С. 114, 117—118; Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 244—250.

¹⁰⁴ Сравнительный анализ отношения к марксизму русской либеральной историографии до и после 1905 г. см.: Хмылев Л. Н. Указ. соч. С. 19—33.

¹⁰⁵ Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: Сб. ст. о русской интеллигенции. М., 1909. С. 14.

¹⁰⁶ Ленин В. И. Еще одно уничтожение социализма // Полн. собр. соч. Т. 25. С. 33—34.

¹⁰⁷ Хвостов В. М. Нравственная личность и общество: Очерк по этике и социологии. М., 1911. С. 34.

¹⁰⁸ Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 151.

¹⁰⁹ См.: Там же. С. 219—220, 229.

¹¹⁰ См.: Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч. Т. 18. С. 214—215; Плеханов Г. В. О книге Риккерта // Избр. филос. произв.: В 5 т. М., 1957. Т. III. С. 508—513; Аксель-

род Л. Философские очерки. СПб., 1906. С. 3—8; Покровский М. Н. «Идеализм» и «законы истории» // Покровский М. Н. Историческая наука и борьба классов. М.; Л., 1933. Вып. II. С. 11, 43. Подроб. об отношении В. И. Ленина к неокантианству см.: Чагин Б. А. Указ. соч. С. 64—89.

¹¹¹ См.: Плеханов Г. В. Указ. соч. С. 513—515.

¹¹² См.: Покровский М. Н. Указ. соч. С. 5, 8, 10.

¹¹³ См.: Рубинштейн М. Указ. соч. С. 43—44.

¹¹⁴ См.: Бердяев Н. *Sub specie aeternitatis*: Опыты философские, социальные и литературные (1900—1906 гг.). СПб., 1907. С. 154, примеч., 290, 293.

¹¹⁵ См.: Там же. С. 294.

¹¹⁶ См.: Там же. С. 293—294, 298—299.

¹¹⁷ См.: Там же. С. 291.

¹¹⁸ См.: Там же. С. 154.

¹¹⁹ Там же. С. 296.

¹²⁰ См.: Там же. С. 299.

¹²¹ Там же. С. 300.

¹²² Там же. С. 298.

¹²³ См.: Записки о философских прениях. С. 222; Бердяев Н. *Sub specie aeternitatis*. С. 296—298, 302.

¹²⁴ См.: Бердяев Н. *Sub specie aeternitatis*. С. 2, 3.

¹²⁵ См.: Бердяев Н. Философия свободы. М., 1911. С. 21.

¹²⁶ Там же. С. 88.

¹²⁷ Там же. С. 84.

¹²⁸ См.: Там же. С. 5, 41.

¹²⁹ См.: Там же. С. 91—92.

¹³⁰ См.: Бердяев Н. Происхождение зла и смысл истории // Вопросы философии и психологии. 1908. Кн. 95 (V). С. 462.

¹³¹ См.: Перцов П. П. Указ. соч. С. 27—28.

¹³² См.: Записки о философских прениях. С. 230.

¹³³ См.: Перцов П. П. Указ. соч. С. 30—31, 40, 46—48.

¹³⁴ Софронов Ф. Генрих Риккерт и его книга «Границы естественно-научного образования понятий» // Вопросы философии и психологии. 1905. Кн. 78 (III). С. 455.

¹³⁵ Филиппов М. Указ. соч. С. 34—35.

¹³⁶ См.: Аскольдов С. Теории новейшего критицизма // Вопросы философии и психологии. 1904. Кн. 75 (V). С. 605—606; Перцов П. П. Указ. соч. С. 46—47, 55; Сорокин П. А. Категория

«должного» и ее применимость к изучению социальных явлений // Юридический вестник. 1917. Кн. XVII (I). С. 12; Софронов Ф. Указ. соч. С. 433, 438, 440—441.

¹³⁷ См.: Софронов Ф. Указ. соч. С. 442—443, 454.

¹³⁸ Де-Роберти Е. В. Новая постановка основных вопросов социологии. М., 1909. С. 214.

¹³⁹ Там же. С. 25.

¹⁴⁰ Виппер Р. Две интеллигенции и другие очерки. С. 275.

¹⁴¹ Там же. С. 275—276.

¹⁴² См.: Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий. С. 484—485.

¹⁴³ Виндельбанд В. Прелюдии: Филос. ст. и речи. СПб., 1904. С. 264.

¹⁴⁴ См.: Рожков Н. Новейшая теория исторического познания // Нижегородский сб. СПб., 1905. С. 306, 308.

¹⁴⁵ Там же. С. 308.

¹⁴⁶ Там же. С. 307.

¹⁴⁷ См.: Виппер Р. Очерки теории исторического познания. С. 48—49.

¹⁴⁸ Рожков Н. Значение и судьбы новейшего идеализма в России // Вопросы философии и психологии. 1903. Кн. 67 (II). С. 322.

¹⁴⁹ Там же. С. 322—323.

¹⁵⁰ Рожков Н. Новейшая теория исторического познания. С. 202.

¹⁵¹ Там же. С. 305.

¹⁵² Рожков Н. Значение и судьбы новейшего идеализма в России. С. 323.

¹⁵³ Петрушевский Д. М. К вопросу о логическом стиле исторической науки. С. 13.

¹⁵⁴ Там же. С. 12—13.

¹⁵⁵ См.: Хвостов М. М. Лекции по методологии и философии истории. Казань, 1913. С. 38.

¹⁵⁶ Там же. С. 40.

¹⁵⁷ Петрушевский Д. М. К вопросу о логическом стиле исторической науки. С. 13—14.

¹⁵⁸ См.: Виппер Р. Очерки теории исторического познания. С. 72.

¹⁵⁹ Перцев В. Указ. соч. С. 282.

¹⁶⁰ Рожков Н. Новейшая теория исторического познания. С. 308—309.

¹⁶¹ Там же. С. 309.

¹⁶² См.: Хвостов М. М. К вопросу о задачах истории. С. 802—803.

¹⁶³ Хвостов М. М. Лекции по методологии и философии истории. С. 10—11.

¹⁶⁴ Петрушевский Д. М. К вопросу о логическом стиле исторической науки. С. 8—9.

¹⁶⁵ Хвостов М. М. К вопросу о задачах истории. С. 796—798.

¹⁶⁶ Хвостов М. М. Лекции по методологии и философии истории. С. 37.

¹⁶⁷ См.: Петрушевский Д. М. К вопросу о логическом стиле исторической науки. С. 8.

¹⁶⁸ Хвостов М. М. К вопросу о задачах истории. С. 811.

¹⁶⁹ См.: Там же. С. 807—808.

¹⁷⁰ См.: Мейер Э. Теоретические и методологические вопросы истории. 2-е изд. С. 49—50.

¹⁷¹ См.: Там же.

¹⁷² См.: Хвостов М. М. К вопросу о задачах истории. С. 809.

¹⁷³ См.: Там же. С. 809—810.

¹⁷⁴ См.: Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий. С. 402.

¹⁷⁵ См.: Хвостов М. К вопросу о задачах истории. С. 808.

¹⁷⁶ Там же. С. 808—809.

¹⁷⁷ См.: Рожков Н. Новейшая теория исторического познания. С. 306.

¹⁷⁸ Там же. С. 309.

¹⁷⁹ См.: Перцев В. Указ. соч. С. 280.

¹⁸⁰ См.: Пискорский В. К. Указ. соч. С. 6—7.

¹⁸¹ См.: Хвостов М. К вопросу о задачах истории. С. 812—813.

¹⁸² См.: Виппер Р. Очерки теории исторического познания. С. 61—62.

¹⁸³ Там же. С. 62—63.

¹⁸⁴ См.: Там же. С. 61.

¹⁸⁵ Сафронов Б. Г. Указ. соч. С. 167.

¹⁸⁶ О жизненном и творческом пути В. Н. Перцева см.: Ботвинник М. В. В. Н. Перцев. Минск, 1973.

¹⁸⁷ См.: Ксенополь А. Д. Понятие «ценности» в истории. Киев, 1912. С. 19, 22—23.

- ¹⁸⁸ См.: Там же. С. 15.
- ¹⁸⁹ Там же. С. 32—33.
- ¹⁹⁰ См.: Там же. С. 20.
- ¹⁹¹ См.: Перцев В. Указ. соч. С. 280—281.
- ¹⁹² См.: Там же. С. 282.
- ¹⁹³ См.: Там же.
- ¹⁹⁴ Там же.
- ¹⁹⁵ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. I. С. 285—290.
- ¹⁹⁶ См.: Хвостов В. М. Науки об общем и науки об индивидуальном. С. 349—350.
- ¹⁹⁷ Там же. С. 354—355.
- ¹⁹⁸ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. I. С. 287—288.
- ¹⁹⁹ См.: Там же. С. 288—289.
- ²⁰⁰ См.: Хвостов В. М. Нравственная личность и общество. С. 37—38, 49.
- ²⁰¹ См.: Хвостов В. М. Науки об общем и науки об индивидуальном. С. 353—354.
- ²⁰² См.: Бубнов Н. М. Пособие по методологии истории. С. 1, 205, 247.
- ²⁰³ Сведения о жизненном и творческом пути В. М. Хвостова см.: Рынкевич С. Хвостов Вениамин Михайлович // Русский исторический журнал. Пг., 1921. Кн. 7.
- ²⁰⁴ См.: Хвостов В. М. Новый труд по критике римской традиции // Ученые записки Императорского Московского Университета. Юридического факультета. М., 1902. Вып. 20. С. 24.
- ²⁰⁵ См.: Хвостов В. М. Нравственная личность и общество. С. 92; Его же. Теория исторического процесса. С. 5—6.
- ²⁰⁶ См.: Вундт В. Введение в философию. СПб., 1903. С. 49. Общефилософские воззрения Вундта см. также: Вундт В. Метафизика // Философия в систематическом изложении. СПб., 1909. С. 105—141. Характеристику взглядов философа и его творческого пути см.: Майшнер В. Вильгельм Вундт: основные этапы его творчества // Вопросы психологии. 1979. № 5.
- ²⁰⁷ См.: Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 28.
- ²⁰⁸ См.: Там же. С. 85.
- ²⁰⁹ Там же. С. 129.
- ²¹⁰ См.: Там же. С. 129—130.

- ²¹¹ См.: Там же. С. 261.
- ²¹² См.: Хвостов В. М. Науки об общем и науки об индивидуальном. С. 359.
- ²¹³ См.: Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 61.
- ²¹⁴ См.: Хвостов В. М. К вопросу о свободе воли // Вопросы философии и психологии. 1909. Кн. 96 (I). С. 34, 42, 49.
- ²¹⁵ См.: Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 43, 263—266.
- ²¹⁶ См.: Хвостов В. М. Предмет и метод социологии // Вопросы философии и психологии. 1909. Кн. 99 (IV). С. 633—634.
- ²¹⁷ См.: Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 88. В развернутом виде Хвостов изложил свое понимание классификации научного знания в статье «Классификация наук и место социологии в системе научного знания». [См.: Вопросы философии и психологии. 1917. Кн. 139—140 (IV—V)].
- ²¹⁸ См.: Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 88.
- ²¹⁹ См.: Хмылев Л. Н. Указ. соч. С. 80.
- ²²⁰ См.: Хвостов В. М. Науки об общем и науки об индивидуальном. С. 364.
- ²²¹ См.: Там же. С. 356—358.
- ²²² Там же. С. 366.
- ²²³ Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 304—305.
- ²²⁴ См.: Там же. С. 302—304.
- ²²⁵ Там же. С. 302.
- ²²⁶ См.: Там же.
- ²²⁷ См.: Там же. С. 287.
- ²²⁸ См.: Там же. С. 285—286.
- ²²⁹ См.: Там же. С. 286—287.
- ²³⁰ См.: Там же. С. 302, 304.
- ²³¹ См.: Там же. С. 287—288.
- ²³² См.: Хвостов В. М. Науки об общем и науки об индивидуальном. С. 365.
- ²³³ См.: Там же. С. 356.
- ²³⁴ См.: Хвостов В. М. Нравственная личность и общество. С. 2, 4—5.
- ²³⁵ См.: Там же. С. 9—10.
- ²³⁶ См.: Там же. С. 10.
- ²³⁷ См.: Там же. С. 10—11.
- ²³⁸ См.: Там же. С. 13—14.

- ²³⁹ См.: Там же. С. 16—17.
- ²⁴⁰ Там же. С. 19.
- ²⁴¹ См.: Там же. С. 19—23.
- ²⁴² См.: Там же. С. 1.
- ²⁴³ См.: Хвостов В. М. Науки об общем и науки об индивидуальном. С. 35; Его же. Нравственная личность и общество. С. 38—39. Критический анализ философских концепций Анри Бергсона и Уильяма Джемса см.: Буржуазная философия кануна и начала империализма. М., 1977. С. 213—238, 325—353.
- ²⁴⁴ См.: Хвостов В. М. Нравственная личность и общество. С. 14—15.
- ²⁴⁵ См.: Хвостов В. М. О пессимистическом мировоззрении // Вопросы философии и психологии. 1911. Кн. 158 (III). С. 188—189.
- ²⁴⁶ См.: Хвостов В. М. Нравственная личность и общество. С. 23—24.
- ²⁴⁷ См.: Хвостов В. М. Эвдемонистическое значение нравственного добра // Вопросы философии и психологии. 1911. Кн. 110 (V). С. 437—438.
- ²⁴⁸ См.: Хвостов В. М. Науки об общем и науки об индивидуальном. С. 352—353; Его же. Нравственная личность и общество. С. 11, 29—31; Его же. Плюралистическое миропонимание // Вопросы философии и психологии. 1911. Кн. 109 (IV). С. 376.
- ²⁴⁹ См.: Хвостов В. М. Нравственная личность и общество. С. 27—28.
- ²⁵⁰ Хвостов В. М. Классификация наук и место социологии в системе научного знания. С. 83—84.
- ²⁵¹ См.: Хвостов В. М. Этика Метерлинка // Вопросы философии и психологии. 1913. Кн. 116 (I). С. 5.
- ²⁵² Хвостов В. М. Нравственная личность и общество. С. 24.
- ²⁵³ См.: Хвостов В. М. Плюралистическое миропонимание. С. 377.
- ²⁵⁴ См.: Там же. С. 362.
- ²⁵⁵ См.: Хвостов В. М. К вопросу о свободе воли. С. 45; Его же. Теория исторического процесса. С. 265.
- ²⁵⁶ См.: Хвостов В. М. Нравственная задача человечества // Вопросы философии и психологии. 1912. Кн. III (I). С. 18—19.
- ²⁵⁷ Там же. С. 17.
- ²⁵⁸ См.: Хвостов В. М. Теория исторического процесса. С. 278.

²⁵⁹ О жизненном и творческом пути А. С. Лаппо-Данилевского см: Лаппо-Данилевский А. С. Автобиографический очерк // Материалы для биографического словаря действительных членов Императорской Академии Наук. Императорская Академия Наук, 1889—1914. Пг., 1915. Т. 3. Ч. 1; Материалы для биографии А. С. Лаппо-Данилевского: Очерки по истории знания. Л., 1929. Вып. IV; Пресняков А. Е. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Пб., 1922; Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6; Цамутали А. Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма: Историографические очерки. Л., 1886.

²⁶⁰ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Скифские древности. СПб., 1887.

²⁶¹ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого образования в Московском государстве со времен смуты до эпохи преобразований. СПб., 1890.

²⁶² См.: Материалы для биографии А. С. Лаппо-Данилевского. С. 1—2.

²⁶³ См.: Шилов А. А., Андреев А. И. Лекции и практические занятия А. С. Лаппо-Данилевского в Петроградском Университете в 1890—1918 гг. // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6.

²⁶⁴ См.: Шилов В. А., Андреев А. И. Список трудов А. С. Лаппо-Данилевского // Там же.

²⁶⁵ См.: Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры XVII—XVIII вв. М., 1990.

²⁶⁶ См.: Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете: (Две речи) // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 185.

²⁶⁷ См.: Гревс И. М. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский: (Опыт истолкования души) // Там же. С. 78—79.

²⁶⁸ См.: Там же. С. 49.

²⁶⁹ См.: Материалы для биографии А. С. Лаппо-Данилевского. С. 1.

²⁷⁰ Лаппо-Данилевский А. С. Речь перед магистерским диспутом по русской истории 9 мая 1890 г. // Историческое обозрение. СПб., 1890. Т. I. Отд. I. С. 284.

²⁷¹ Цит. по : Гревс И. М. Указ. соч. С. 64.

²⁷² Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. С. 154—155.

²⁷³ См.: Там же. С. 153—154, 166—168.

²⁷⁴ См.: Там же. С. 127. Осмысление проблемы исторической закономерности см.: Барг М. А. Исторические закономерности как познавательная цель исторической науки // История СССР. 1979. № 1; Барг М. А., Черняк Е. Б. О категории «исторический закон» // Новая и новейшая история. 1989. № 3; Гуревич А. Я. Об исторической закономерности // Философские проблемы исторической науки. М., 1969; Жуков Е. М. О соотношении общесоциологических и исторических закономерностей // Вопросы философии. 1977. № 4; Могильницкий Б. Г. О специфических исторических законах // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1986. Вып. 18; Его же. О природе исторического закона // Новая и новейшая история. 1985. № 5; Шакина Т. Д. Гносеологическая природа исторической закономерности // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1979. Вып. 13.

²⁷⁵ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. II. СПб., 1913. С. 292.

²⁷⁶ Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. I. С. 66.

²⁷⁷ См.: Там же. С. 162—165.

²⁷⁸ См.: Там же. С. 114, 117—118.

²⁷⁹ См.: Там же. С. 177.

²⁸⁰ Там же. С. 224.

²⁸¹ См.: Там же. С. 235.

²⁸² См.: Материалы для биографии А. С. Лаппо-Данилевского. С. 4—5; Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. СПб., 1910. С. 188—209.

²⁸³ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. I. С. 52, 213—214, 219—220.

²⁸⁴ Изложение Лаппо-Данилевским теории ценностей в историческом познании Виндельбанда и Риккерта см.: Там же. С. 214—218.

²⁸⁵ Там же. С. 233.

²⁸⁶ См.: Там же. С. 234.

²⁸⁷ См.: Там же. С. 239.

²⁸⁸ Там же.

²⁸⁹ См.: Там же. С. 240.

²⁹⁰ Там же.

²⁹¹ См.: Там же. С. 239—240.

- ²⁹² Там же. С. 249.
- ²⁹³ См.: Там же. С. 244.
- ²⁹⁴ Там же. С. 249.
- ²⁹⁵ См.: Там же. С. 242—244.
- ²⁹⁶ См.: Там же. С. 241—242.
- ²⁹⁷ См.: Там же. С. 244.
- ²⁹⁸ Там же.
- ²⁹⁹ См.: Там же. С. 244—245.
- ³⁰⁰ См.: Там же. С. 169, 282.
- ³⁰¹ Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: Лекции, читанные студентам С.-Петербургского Университета в 1908—1909 академическом году / Литорг. Богданова. СПб., 1909. Ч. 2. Отд. II. С. 233.
- ³⁰² См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. I. С. 283.
- ³⁰³ См.: Там же. С. 169.
- ³⁰⁴ См.: Там же. С. 168.
- ³⁰⁵ Там же. С. 245.
- ³⁰⁶ См.: Там же. С. 248—249.
- ³⁰⁷ Там же. С. 245.
- ³⁰⁸ См.: Там же. С. 287—288.
- ³⁰⁹ См.: Там же. С. 246—247.
- ³¹⁰ Там же. С. 247.
- ³¹¹ См.: Там же. С. 244—245.
- ³¹² Там же. С. 247—248.
- ³¹³ См.: Там же. С. 241.
- ³¹⁴ Там же. С. 249.
- ³¹⁵ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. II. С. 325.
- ³¹⁶ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. I. С. 238.
- ³¹⁷ См.: Там же. С. 238, 252.
- ³¹⁸ См.: Там же. С. 288—289.
- ³¹⁹ Там же. С. 253.
- ³²⁰ См.: Там же. С. 249—250.
- ³²¹ Там же. С. 238—239.
- ³²² См.: Там же. С. 254—255.
- ³²³ Там же. С. 291.
- ³²⁴ См.: Там же. С. 226.

- ³²⁵ См.: Там же. С. 231.
- ³²⁶ См.: Там же. С. 254.
- ³²⁷ См.: Там же. С. 236—237.
- ³²⁸ Там же. С. 237.
- ³²⁹ См.: Там же. С. 249—250.
- ³³⁰ См.: Там же. С. 276—277.
- ³³¹ См.: Там же. С. 253—254.
- ³³² См.: Там же. С. 275—276.
- ³³³ См.: Там же. С. 276—277.
- ³³⁴ См.: Там же. С. 277.
- ³³⁵ Там же. С. 278—279.
- ³³⁶ См.: Там же. С. 279.
- ³³⁷ См.: Там же. С. 277—278.
- ³³⁸ См.: Там же. С. 283—284.
- ³³⁹ Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. II. С. 333.
- ³⁴⁰ См.: Там же. С. 334.
- ³⁴¹ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Идея государства и главнейшие моменты ее развития в России со времен смуты до эпохи преобразований // Голос минувшего. 1914. № 12. С. 5, 38.
- ³⁴² См.: Пресняков А. Е. А. С. Лаппо-Данилевский, как ученый и мыслитель // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 87.
- ³⁴³ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Исторические взгляды В. О. Ключевского // В. О. Ключевский: Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 108.
- ³⁴⁴ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. II. С. 371, 375.
- ³⁴⁵ См.: Там же. С. 518.
- ³⁴⁶ См.: Лаппо-Данилевский А. С. Очерки внутренней политики императрицы Екатерины II. СПб., 1898; Его же. Екатерина II и крестьянский вопрос // Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. М., 1911. Т. 1.

К заключению

¹ См.: Киреева Р. А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983. С. 205.

² См.: Алпатов М. А. Указ. соч. С. 23, 26; Мартынов Н. Д. Всесоюзная конференция «Кризис современной буржуазной исторической науки» // Вопросы истории. 1980. № 2. С. 117; Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 3. С. 242—243; Хмылев Л. Н. Указ. соч. С. 4, 12, 169—170.

³ См.: Киреева Р. А. Возникновение проблемы историографических направлений в русской буржуазной науке конца XIX — начала XX в. // XXV съезд КПСС и задачи изучения истории исторической науки. Калинин, 1978. Ч. II. С. 29; Копанев А. И. Археографическая деятельность А. С. Лаппо-Данилевского в освещении С. Н. Валка // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1978. Т. IX. С. 81; Литвак Б. Г. О путях развития источниковедения массовых источников // Источниковедение: Теоретические и методологические проблемы. М., 1969. С. 105; Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 3. С. 274, 624; Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. Л., 1961. Ч. I. С. 29; Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М., 1975. С. 40, 152; Хмылев Л. Н. А. С. Лаппо-Данилевский и проблемы теоретического источниковедения // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1976. Вып. XI. С. 108—113; Шмидт С. О. Современные проблемы источниковедения // Источниковедение. С. 12, примеч.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Научное издание

Рамазанов Сергей Павлович

**КРИЗИС
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
НАЧАЛА XX ВЕКА**

В 2 частях

Часть I

**ПОСТАНОВКА И ПОПЫТКА
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ**

Главный редактор *А.В. Шестакова*

Редактор *О.С. Кашук*

Технический редактор *Я.В. Деревянкин*

Художественный редактор *Н.Г. Романова*

ЛР № 020406 от 12.02.97

Подписано в печать 2.07.99. Формат 60х84/16.

Бумага типографская № 1. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 8,37.

Уч.-изд. л. 9,0. Тираж 200 экз. Заказ . «С» 27.

Издательство Волгоградского государственного университета.
400062, Волгоград, ул. 2-я Продольная, 30.